

# Принцесса из деревни



Автор: Сергей Галактионов

# Сергей Галактионов

## Принцесса из деревни

<https://litres.ru/74370878>

*SelfPub; 2026*

### Аннотация

Кира Волкова — быоти-блогер с миллионом подписчиков, ни дня реальной работы и идеальная ванная из каррарского мрамора. Один неверный шаг на мокром полу — и она просыпается в теле четырнадцатилетней крестьянки в средневековой хижине, где куры спят на столе, а поросёнок — в ногах.

План прост: отмыться, прихорошиться, сбежать с принцем. Но принцы оказываются разорёнными пикаперами, графы — с гнилыми зубами, а купцы дарят ей свиней и называют их в её честь.

Придётся делать всё самой: варить сыр, лечить деревню от мора, торговаться с купцами и отбиваться от мародёров. А любовь найдётся там, где не ждала, — у парня с белыми зубами и запахом сена.

# Содержание

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Глава 1. Последний сторис          | 5   |
| Глава 2. Манифестация принца       | 23  |
| Глава 3. Сияющие доспехи           | 43  |
| Глава 4. Каша и смирение           | 67  |
| Глава 5. Вкалывание                | 87  |
| Глава 6. Провалы и маленькие твари | 104 |
| Конец ознакомительного фрагмента.  | 113 |

# Сергей Галактионов

## Принцесса из деревни

*Смерть — это не конец. Это просто  
смена аккаунта без возможности восстановления  
пароля.*

# Глава 1. Последний сторис

Кира Волкова умерла в двадцать пять лет, в среду, в семнадцать часов сорок две минуты, в ванной комнате с подогревом пола и арома свечами.

Это была хорошая ванная. Итальянская плитка цвета слоновой кости, раковина из каррарского мрамора, зеркало с подсветкой, которое делало кожу такой гладкой, что казалось — фильтры не нужны. Фильтры, конечно, были нужны. Фильтры были нужны всегда. Но зеркало создавало иллюзию, а иллюзия — это то, чем Кира Волкова зарабатывала на жизнь.

Миллион двести тысяч подписчиков.

Контракт с корейским брендом увлажняющих сывороток.

Контракт с российским брендом витаминов для волос, которые она никогда не пила.

Контракт на рекламу фитнес-браслета, который она надевала только для фото.

Квартира на Патриарших, которую оплачивал бывший бойфренд (он думал, что ещё не бывший, но Кира уже две недели не отвечала на его сообщения, потому что нашла бойфренда поинтереснее — с яхтой).

Жизнь Киры Волковой была красивой. Как картинка. Как сторис с фильтром «Париж», который делал всё чуть розовым и чуть нереальным.

В тот день — в среду, в последнюю среду своей жизни — Кира снимала контент.

«Мой идеальный день». Формат: вертикальное видео, двенадцать сторис, финальный рилс с монтажом.

Утро началось в шесть тридцать — не потому что Кира была жаворонком, а потому что в семь утра свет в квартире падал на кровать под идеальным углом, и одеяло выглядело как облако, и можно было снять пробуждение одним дублем.

Она поставила телефон на штатив, легла обратно, закрыла глаза, включила запись. Потянулась. Улыбнулась. Открыла глаза — медленно, как учила подписчиц в гайде «Утро без стресса: 7 шагов к идеальному пробуждению» (цена гайда — 2 990 рублей, продано 14 000 копий, Кира сама ни разу не следовала ни одному из семи шагов).

Дальше — кухня. Кофе. Не растворимый — боже упаси. Матча-латте на овсяном молоке с щепоткой корицы. Кира ненавидела матча-латте. На вкус это было как трава, перемолотая в пыль и залитая чем-то, что притворяется молоком. Но матча-латте хорошо смотрелась в кадре — зелёный цвет, белая пена, керамическая чашка ручной работы.

Потом — пилатес. Студия на Бронной, инструктор Алёна, которая говорила «дышите в живот» таким голосом, будто рассказывала сказку на ночь. Кира снимала себя в зеркале: леггинсы за двадцать тысяч, топ за двенадцать, кроссовки за сорок. Идеальная поза. Идеальный пресс. Идеальное всё.

Потом — бранч. Авокадо-тост, пашот, свежавыжатый.

Кира съела три кусочка авокадо и отодвинула тарелку. Не потому что не хотела — хотела, очень хотела, она вообще всегда хотела есть, но контролировала себя с яростью, которую другие люди тратят на карьеру или спасение мира.

Потом — фотосессия для нового поста. Тема: «Естественная красота». Два часа в кресле визажиста, чтобы выглядеть так, будто на лице ничего нет.

Потом — ужин в ресторане с подругой Настей. Настя тоже была блогером, но поменьше — четыреста тысяч подписчиков, и она завидовала Кире с такой концентрированной ненавистью, что это можно было разливать в бутылки и продавать как энергетик. Они сфотографировались, обнявшись. Кира выложила фото с подписью «Мои люди ##». Настя выложила то же фото с подписью «Лучшая ##». Обе ненавидели это фото.

К семнадцати тридцати Кира вернулась домой. Сняла кроссовки. Сняла пальто. Прошла в ванную.

На лице — пилинг. На волосах — маска с кератином. На ногах — носки с увлажняющей пропиткой. Она была упакована в уходовые средства, как мумия в бинты, и при этом чувствовала себя уставшей, пустой и — если бы её спросили, а её никто не спрашивал — одинокой.

Телефон лежал на краю раковины. Она потянулась к нему, чтобы выложить последний сторис дня — вид из окна ванной, закат, свечи, подпись «Вечер для себя ###».

Рука была мокрой.

Мрамор был мокрым.

Носок с увлажняющей пропиткой скользнул по итальянской плитке цвета слоновой кости.

Кира упала.

Затылок ударился о край раковины из каррарского мрамора. Того самого мрамора, который она выбирала три недели, потому что обычный мрамор был «слишком серым», а этот — «тёплый, с прожилками, как в римских термах». Мрамор был красивый. Мрамор был твёрдый. Мрамор не прощал ошибок.

Последнее, что видела Кира Волкова, — потолок ванной комнаты. Белый. Ровный. С маленьким пятном в углу, которое она просила маляра исправить, а маляр сказал, что это не пятно, а тень, и Кира не поверила, но так и не перезвонила ему.

Последнее, что думала Кира Волкова:

«Я даже сторис не выложила».

Потом — темнота.

Темнота пахла.

Это было первое, что Кира осознала. Не «где я?», не «что случилось?», не «я жива?». Нет. Первая мысль была: «Пахнет. Чем-то ужасным. Что-то протухло. Или кто-то умер. Или и то, и другое».

Она попыталась открыть глаза. Веки были тяжёлыми, будто на них положили мешки с песком. Голова гудела. Тело ломило. Всё тело — не так, как после пилатеса, когда болят



конкретные мышцы с красивыми латинскими названиями, а как после того, как тебя переехал грузовик, потом сдал назад и переехал ещё раз.

Она открыла глаза.

Темнота никуда не делась. Но теперь в ней были контуры. Неровный потолок — не белый, не ровный, а бурый, в трещинах, с торчащими жёрдочками, между которыми виднелось что-то похожее на солому. Или на сено. Или на то, что когда-то было соломой, а теперь стало экосистемой.

Кира моргнула.

Что-то хрюкнуло. Не рядом, а у неё в ногах. Что-то тёплое, шершавое и живое толкнулось в её ступню.

Кира посмотрела вниз.

У неё в ногах лежал поросёнок. Маленький, грязный, с розовым пятчком, покрытым чем-то, о чём Кира предпочла бы не думать. Поросёнок смотрел на неё круглыми чёрными глазами с выражением абсолютного безразличия.

Кира закричала.

Не тем криком, которым кричат в фильмах ужасов — красивым, звонким, с идеально открытым ртом. Нет. Это был крик человека, который проснулся с поросёнком в ногах, ничего не понимает и находится на грани нервного срыва. Хриплый, сорванный, с нотками истерики и лёгким привкусом безумия.

Поросёнок хрюкнул и отполз.

Где-то справа закудахтали куры. Несколько кур. Кира по-

вернула голову. На чём-то, что, видимо, считалось столом — грубая доска на двух пнях — сидели три курицы. Они смотрели на Киру с тем же безразличием, что и поросёнок. В мире этих кур крик голой обезьяны был событием, не заслуживающим внимания.

Дверь — вернее, то, что служило дверью: кусок дерева, привязанный к стене верёвкой — распахнулась.

В проёме стояла женщина.

Кира уставилась на неё и попыталась обработать увиденное. Мозг, привыкший к фильтрам и идеальным картинкам, буксовал.

Женщине было, на вид, лет пятьдесят. Может, пятьдесят пять. Лицо — как печёное яблоко: морщины, складки, обветренная кожа. Руки — красные, потрескавшиеся, с ногтями, обломанными до мяса. Волосы — неопределённого цвета, спрятанные под грязный платок. Платье — серое, мешковатое, заштопанное в четырёх местах.

Женщина открыла рот и сказала что-то.

Кира услышала слова и с ужасом поняла, что понимает их. Не на русском, нет. На каком-то другом языке — грубом, гортанном, похожем на смесь немецкого с чем-то славянским. Но она понимала. Как будто этот язык всегда жил в её голове, просто раньше молчал.

— Кирка! Опять орёшь? Что с тобой? Свинья укусила?

Кирка. Её звали Кирка. Не Кира, не Кирочка, не «Кира, привет, мы из бренда, хотим обсудить коллаборацию». Кир-

ка.

— Мама, — ответила Кира, и голос, который вышел из её рта, был не её голосом. Тоньше, выше, моложе. Голос подростка. — Мама, что...

Женщина шагнула вперёд, наклонилась, потрогала Кирина лоб шершавой ладонью.

— Жара нет. Значит, не хвораю. Вставай, лентяйка. Козу подоить надо. И кур покорми, а то опять яйца клевать начнут.

Кира сидела на чём-то, что называлось «кровать» только из вежливости. Это была доска, на которой лежал мешок, набитый чем-то колючим. Соломой, видимо. Вместо одеяла — кусок грубой ткани, которая пахла так, будто её стирали в болоте. Возможно, её стирали в болоте.

Кира посмотрела на свои руки.

Это были не её руки.

В прошлой жизни — господи, она уже думала об этом как о «прошлой жизни» — её руки были произведением искусства. Маникюр каждую неделю. Крем четыре раза в день. Солнцезащитный фактор на тыльную сторону ладоней. Кожа была такой гладкой, что фотографы просили её сниматься для рекламы колец без ретуши.

Руки, которые она видела сейчас, были маленькими, тощими, загорелыми до черноты. Ногти — грязные, обломанные. На ладонях — мозоли. На костяшках — ссадины. На запястье — грязный шнурок, завязанный узлом.

Кира подняла руки к лицу. Потрогала щёки. Впалые, угловатые. Нос — маленький, острый. Губы — сухие, потрескавшиеся.

Четырнадцать лет. Она была в теле четырнадцатилетней девочки.

— МАМА! — закричала Кира голосом, который был на октаву выше, чем она ожидала. — ГДЕ Я?!

Женщина — мать, Марта, как подсказала память этого чужого тела — посмотрела на неё с выражением, которое говорило: «Моя дочь сошла с ума, но у меня нет времени на это, потому что козу надо подоить».

— Ты дома, дуручка. Где тебе ещё быть? В королевском дворце? Вставай. Отец уже в поле.

Кира встала.

Это было ошибкой.

Во-первых, она наступила в нечто влажное и тёплое, и ей не нужно было смотреть вниз, чтобы понять, что это такое. Поросёнок виновато хрюкнул из угла.

Во-вторых, встав в полный рост, она смогла наконец увидеть «дом» целиком. И слово «дом» тут было сильным преувеличением. Это был сарай. Нет — это было оскорбление сараев. Сараи, увидев это строение, объединились бы в профсоюз и подали жалобу.

Одна комната. Стены — глина, перемешанная с соломой, в трещинах, через которые виднелся свет. Крыша — жерди и солома, с дырой в углу, через которую Кира видела серое

небо. Пол — утоптанная земля, покрытая старой соломой и тем, что оставляли после себя куры и поросёнок. Вместо окна — квадратная дыра в стене, заткнутая тряпкой. Печь — глиняная, кособокая, с трубой, которая уходила в стену под углом, вызывающим сомнения в законах физики.

В углу, на куче тряпья, спали трое детей. Мальчик лет десяти — тощий, с копной нечёсанных волос. Девочка лет семи — маленькая, свернувшаяся калачиком, с пальцем во рту. И ещё один — совсем маленький, лет пяти, круглый, как колобок, с румяными щеками и выражением блаженства на лице.

Братья и сестра. Петька, Анка, Мик. Имена всплыли сами, как пузыри из болота.

Кира стояла посреди этого... помещения... и чувствовала, как реальность обрушивается на неё, как штукатурка с потолка в старом доме. По кусочкам. Каждый кусочек — большее предыдущего.

Нет ванной. Нет душа. Нет раковины из каррарского мрамора.

Нет телефона. Нет интернета. Нет подписчиков.

Нет кофе. Нет матча-латте. Нет авокадо-тостов.

Нет зеркала с подсветкой. Нет крема. Нет сыворотки. Нет SPF.

Есть поросёнок. Есть куры. Есть мать, которая выглядит на пятьдесят, хотя ей, наверное, тридцать пять. Есть трое детей на полу. Есть серая каша в горшке на кособокой печи. И есть запах. Запах, который состоял из навоза, дыма, пота,

гнилой соломы и чего-то ещё — чего-то, для чего в русском языке нет слова, а если бы было, его запретили бы произносить в приличном обществе.

Кира сделала то, что сделал бы на её месте любой разумный человек.

Она заплакала.

Не красиво. Не как в кино. Не с одинокой слезинкой, скатывающейся по безупречной скуле. Нет. Она заревела. С соплями, с всхлипами, с подвываниями. Она села на пол — прямо на грязную солому — и ревела так, что проснулись дети, забеспокоились куры и даже поросёнок подошёл и ткнулся ей в колено пяточком, будто пытаясь утешить.

Марта стояла в дверях и смотрела на неё.

— Сглазили, — сказала она наконец. Не с испугом, не с тревогой, а с усталым раздражением человека, у которого и без того забот хватает. — Опять эта бабка Злата сглазила. Говорила я — не ходи к ней за травами.

— Мама, — прохрипела Кира сквозь слёзы, — где... где ванная?

— Что?

— Ванная. Где можно помыться. Вода. Горячая вода. Мыло. Полотенце. Хоть что-нибудь.

Марта посмотрела на неё так, будто дочь заговорила на языке ангелов. Или демонов. Или и тех, и других одновременно.

— Вода в колодце. Полотенце — вон тряпка висит. Мыло

кончилось на прошлой неделе. А «ванная» — это что?

— Это... место... где моются. Отдельная комната. С водой.

— Отдельная комната для мытья? — Марта подняла брови так высоко, что они исчезли под платком. — Ты что, королева? У нас одна комната на всех. И на кур тоже. Хочешь мыться — бери ведро и иди к колодцу. Но сначала — козу подои.

Кира сидела на полу, в поросячьей луже, в хижине из глины и палок, и понимала — медленно, мучительно, как человек, который просыпается после наркоза и обнаруживает, что ему ампутировали ногу, — что это не пранк. Не реальности-шоу. Не сон.

Это была её новая жизнь.

Она вытерла нос рукавом — рукавом! Она, которая в прошлой жизни не прикасалась к лицу без предварительной дезинфекции рук! — и попыталась дышать.

Не получалось. Воздух был слишком густым от запахов, которые не должны существовать в радиусе километра от человеческого носа.

— Это не моя жизнь, — прошептала она по-русски. — Это не моя жизнь. Я — Кира Волкова. У меня миллион подписчиков. У меня квартира на Патриарших. У меня контракт с корейским брендом. Я не... я не это. Я не здесь. Я не...

— Кирка! — рывкнула Марта от двери. — Хватит бормотать! Коза сама себя не подоит!

Кира встала. Вытерла лицо. Посмотрела на свои грязные, мозолистые, чужие руки. Посмотрела на поросёнка. Поросёнок посмотрел на неё.

— Ладно, — сказала она поросёнку. — Ладно. Коза. Подоить козу. Я могу подоить козу. Наверное. Я не знаю, как доят козу. Я не знаю, как выглядит коза вблизи. Но я могу. Я должна мочь. Потому что альтернатива — сидеть в луже пороссячьей мочи и плакать. А это... это не контент.

Поросёнок хрюкнул.

Кира вышла из хижины.

Мир ударил её по глазам.

Свет — серый, но яркий после темноты хижины. Небо — низкое, облачное, бесконечное. Земля — грязная, размокшая от недавнего дождя. Перед хижинкой — двор, если это можно назвать двором: утоптаный пятачок с корытом, из которого пила тощая коза; покосившийся забор из кривых жердей; куча навоза в углу, на которой сидел петух с видом победителя.

За забором — поле. За полем — лес. За лесом — ничего. Ни дороги, ни здания, ни антенны, ни самолёта в небе. Ничего, что говорило бы: «Добро пожаловать в двадцать первый век, мы рады, что вы с нами».

Кира стояла босиком в грязи, в рубаше, которая пахла так, будто её носили три поколения без стирки, и смотрела на мир, который был её новым домом.

— Это три из десяти, — сказала она вслух. — Нет, это



два. Нет, это один. Один из десяти. Нет, это ноль. Ноль из десяти. Не рекомендую.

Коза подняла голову и посмотрела на неё. У козы были жёлтые глаза с горизонтальными зрачками — инопланетные, равнодушные, слегка презрительные. Коза жевала что-то. Вероятно, забор.

— Хорошо, — сказала Кира козе. — Хорошо. Давай попробуем. Я — Кира Волкова, быути-блогер, модель, лицо бренда. Я сейчас подою тебя. Я не знаю как, но я разберусь. Я разобралась, как сделать идеальный смоки-айс с закрытыми глазами, я разобралась, как продать тысячу гайдов за одну ночь, я разобралась, как убедить миллион женщин, что этот крем работает. Я справлюсь с козой.

Она подошла к козе. Коза посмотрела на неё. Кира посмотрела на козу. Между ними повисло напряжение, достойное финала чемпионата мира.

Кира протянула руку к вымени.

Коза лягнула её в колено.

Кира упала в грязь.

Куры закудахтали. Петух на навозной куче хлопнул крыльями. Где-то в хижине хрюкнул поросёнок. Из дверного проёма выглянул Петька — десятилетний брат — и расхохотался так, что согнулся пополам.

Кира лежала в грязи, с ноющим коленом, и смотрела в серое небо.

В прошлой жизни, подумала она, я падала один раз. На

мраморный пол. И умерла. В этой жизни я упала в грязь. И, кажется, буду падать ещё долго.

Она перевернулась на живот. Упёрлась руками в землю. Встала. Отряхнула рубаху — бессмысленный жест, потому что рубаха была грязнее земли.

— Ладно, — сказала она козе, которая жевала забор с видом полной победы. — Раунд два.

Из хижины вышла Марта. Посмотрела на Киру — грязную, мокрую, с соломой в волосах. Посмотрела на козу — сытую, довольную, с куском забора во рту.

— Ты не умеешь доить, — сказала Марта. Это был не вопрос.

— Я... раньше умела, — соврала Кира.

— Раньше — это когда? Вчера ты доила нормально.

— Я... забыла.

Марта закрыла глаза. Открыла. Подошла к козе. Села на корточки. Двумя движениями — быстрыми, точными, отработанными за двадцать лет — выдоила молоко в ведро. Встала. Протянула ведро Кире.

— Смотри и учись, — сказала она. — Заново.

Кира взяла ведро. Молоко было тёплым и пахло козой. В прошлой жизни она пила овсяное молоко, миндальное молоко, кокосовое молоко — любое молоко, кроме настоящего, потому что настоящее молоко было «не в тренде». Теперь она стояла с ведром настоящего козьего молока и понимала, что это — единственное молоко, которое у неё будет. Навсе-

гда.

— Мама, — сказала Кира, и её голос дрогнул.

— Что?

— Мне нужно помыться. Пожалуйста. Мне нужна вода. Хоть какая-нибудь. Пожалуйста.

Марта посмотрела на неё долгим взглядом. В этом взгляде было много всего: усталость, раздражение, лёгкое беспокойство и — где-то на самом дне — что-то похожее на жалость. Или на любовь. Или на то и другое, смешанное в пропорциях, которые знают только матери.

— Колодец за домом, — сказала Марта. — Ведро там. Воду грей на печи, если хочешь тёплую. Но дрова экономь — зима близко.

Кира кивнула. Пошла к колодцу.

Колодец был старым, с покосившимся срубом и верёвкой, которая выглядела так, будто могла порваться в любую секунду. Кира опустила ведро. Подняла. Вода была ледяной и чистой — настолько чистой, что Кира на секунду забыла, где она, и просто стояла, глядя на своё отражение в ведре.

Из ведра на неё смотрело чужое лицо. Молодое, худое, с большими глазами и спутанными волосами цвета грязной соломы. Не уродливое — нет. Под слоем грязи, под усталостью, под четырнадцатью годами крестьянской жизни проступали правильные черты: высокие скулы, прямой нос, губы с чётким контуром.

Если бы это лицо попало ко мне на консультацию, подума-

ла Кира, я бы сказала: потенциал есть. Уход, питание, увлажнение — и через полгода можно на обложку. Но здесь нет ухода. Нет питания. Нет увлажнения. Здесь есть козье молоко, печная зола и поросёнок по имени... а, у него нет имени. Он просто поросёнок.

Она подняла ведро. Понесла к дому. Ведро было тяжёлым — в прошлой жизни самое тяжёлое, что она поднимала, была сумка Hermès, и даже её обычно нёс ассистент.

Кира поставила ведро у печи. Плеснула воды в горшок. Разожгла огонь — это заняло двадцать минут, три обожжённых пальца и пять слов, которых нет ни в одном словаре. Нагрела воду до тёплого состояния.

Вышла за дом. Встала за хужиной, где никто не видел. Стянула рубаху.

Увидела своё тело.

Нет, подумала она. Нет, нет, нет.

Тело четырнадцатилетней крестьянки было тем, что в быоти-индустрии назвали бы «проектом». Тощее — не стройное, как на подиуме, а именно тощее, с торчащими рёбрами и острыми ключицами. Кожа — загорелая до коричневого, с цыпками на руках и ссадинами на коленях. Ноги — кривоватые, с мозолями на ступнях, которые можно было использовать вместо наждачной бумаги. Волосы — спутанные, тусклые, с чем-то подозрительным у корней.

Кира плеснула на себя тёплой водой. Потёрла кожу руками. Грязь сходила неохотно, будто приросла. Мыла не было

— Марта сказала, что мыло кончилось, — и Кира в отчаянии зачерпнула горсть золы из-под печи и стала тереть ею руки.

Зола была грубой. Кожа покраснела. Но — стала чище. На полтона. Может, на четверть тона. Кира тёрла и тёрла, и вспоминала, как в прошлой жизни рекламировала скраб из вулканического пепла за четыре тысячи рублей за банку. Теперь у неё был скраб из печной золы. Бесплатный. Органический. Стопроцентно натуральный. Ноль из десяти, не рекомендую.

Она вылила на себя остатки воды, надела рубаху обратно и села на землю.

Где-то в поле работал отец — Йорн. Огромный, молчаливый, с руками как лопаты. Кира видела его мельком, когда выходила: он стоял, согнувшись, над грядкой и что-то делал с землёй. За весь день он произнёс три слова. «Есть.» — утром. «Спать.» — вечером. И «Коза.» — когда коза снова сожрала кусок забора.

В хижине возились дети. Петька дразнил Анку, Анка плакала, Мик ел. Мик, кажется, всегда ел. Это был его основной вид деятельности и, судя по румяным щекам, он преуспевал.

Куры кудахтали. Поросёнок хрюкал. Коза жевала.

Кира сидела на земле, прислонившись спиной к стене хижины из глины и палок, и смотрела на закат.

Закат был красивым. По-настоящему красивым — не через фильтр «Париж», не через стекло панорамного окна, не через экран телефона. Просто небо, красное с золотым, над

бесконечным полем, с силуэтом леса на горизонте и одинокой птицей, плывущей в потоке тёплого воздуха.

В прошлой жизни Кира сфотографировала бы этот закат, наложила бы фильтр, написала бы подпись: «Природа — лучший косметолог ##». Получила бы пятьдесят тысяч лайков.

Здесь не было телефона. Не было фильтра. Не было подписи. Не было лайков.

Был только закат. И она.

Ладно, подумала Кира. Ладно. Я не знаю, как я сюда попала. Я не знаю, зачем. Я не знаю, как вернуться. Но я знаю одно: я — Кира Волкова. Я убедила миллион женщин купить крем, который не работает. Я продала четырнадцать тысяч гайдов по утреннему пробуждению. Я выжила в индустрии, где тебя сожрут за один неудачный пост. Я справлюсь. Я не знаю как, но я справлюсь.

Но сначала мне нужно найти мыло.

И научиться доить козу.

И, может быть, не умереть.

Из хижины донёсся голос Марты:

— Кирка! Каша стынет! Есть иди!

Кира встала. Отряхнула рубаху. Посмотрела на свои грязные руки.

— Иду, мама, — сказала она.

И пошла есть серую кашу.

## Глава 2. Манифестация принца

Каша была серой.

Не серой как асфальт — у асфальта есть характер, у асфальта есть текстура, асфальт хотя бы честен в своей серости. Нет. Эта каша была серой как отчаяние. Как понедельник без кофе. Как лицо человека, который только что узнал, что его рейс задержан на двенадцать часов, а зарядка для телефона осталась дома.

Кира сидела на лавке — грубой доске, прибитой к стене — и смотрела в миску. Миска была глиняной, с отколотым краем. Ложка — деревянной, с трещиной посередине. Каша — она даже не знала, из чего эта каша. Из какого-то зерна. Может, ячмень. Может, полба. Может, что-то, у чего нет названия в современном мире, потому что в современном мире это перестали есть ещё в Средневековье.

Ну, собственно, вот оно, Средневековье. Пожалуйста.

Кира поднесла ложку ко рту. Понюхала. Пахло ничем. Даже не невкусным — просто ничем. Как картон. Как воздух в пустой комнате. Как жизнь без смысла.

Она положила ложку обратно.

— Я не могу это есть, — сказала она.

Марта, которая кормила Мика с ложки (Мик не нуждался в кормлении — он прекрасно ел сам, но мать привыкла, а Мик не возражал), посмотрела на неё.

— Что значит «не можешь»?

— Это... это не еда. Это... субстанция. Серая субстанция.

— Это каша, — сказала Марта с интонацией человека, который объясняет очевидное идиоту. — Из ячменя. На воде. Как всегда.

— Как всегда, — повторила Кира.

— Как всегда, — подтвердила Марта.

Кира посмотрела на Петьку. Петька ел кашу с такой скоростью, будто за ним гнались. Ложка мелькала, каша исчезала, щёки раздувались. Анка ела медленнее, но тоже ела — аккуратно, маленькими ложечками, слизывая остатки с края миски. Мик ел всё, что попадало в радиус его досягаемости, включая кашу, корку хлеба, обрывок какого-то корнеплода и — кажется — кусочек воска от свечи.

Все ели. Все были сыты. Или хотя бы не голодны. Или хотя бы делали вид.

Кира отодвинула миску.

— Я не буду, — сказала она.

Марта не ответила. Забрала миску, разделила остатки между Петькой и Анкой. Петька получил свою долю с восторгом человека, выигравшего в лотерею. Анка — с тихой благодарностью.

Кира смотрела на это и чувствовала себя так, будто совершила преступление.

В прошлой жизни, подумала она, я отказывалась от еды, потому что не хотела. Потому что могла себе это позволить.



Потому что в холодильнике всегда было что-то ещё — авокадо, хумус, крафтовый сыр за девятьсот рублей. Здесь холодильника нет. Здесь «что-то ещё» — это ничего. И я только что отдала свою порцию, которую можно было съесть, детям, которые едят за двоих, потому что не знают, будет ли ужин.

Ужин был. Та же каша. Кира снова не ела.

Она легла спать голодной, на доске с соломенным матрасом, рядом с поросёнком, который сопел ей в ухо, и думала о еде. Не о конкретной еде — не об авокадо-тосте и не о матча-латте. Просто о еде. О чём-нибудь. О чём угодно. Даже о серой каше, от которой она отказалась два часа назад.

Желудок свело.

Кира перевернулась на бок. Потом на другой бок. Потом на спину. Потом снова на бок.

Я не могу так, подумала она. Я не могу жить здесь. Я не могу есть эту кашу, спать на этой доске, дышать этим воздухом, жить в этой хижине с курами и поросёнком. Я — Кира Волкова. У меня был миллион подписчиков. У меня было всё. А теперь у меня — ничего. Ничего, кроме тела четырнадцатилетней крестьянки с мозолями и цыпками.

Она закрыла глаза.

Мне нужен план.

Мне нужен план, как выбраться отсюда.

И я знаю какой.

План был гениальным. По крайней мере, так думала Кира. Она лежала на своей доске, глядя в дырявый потолок,

через который мерцали звёзды, и прокручивала его в голове, как монтажировала рилс — кусок за куском, склейка за склейкой.

Шаг первый: отмыться. По-настоящему. Не ведром ледяной воды и горстью золы, а так, чтобы кожа стала чистой, волосы — блестящими, ногти — хотя бы не чёрными.

Шаг второй: привести себя в порядок. Найти лучшую одежду. Расчесать волосы. Сделать что-то с лицом — без косметики, без фильтров, но с тем, что есть.

Шаг третий: выйти к тракту — дороге, по которой ездят всадники, повозки, торговцы, — и «случайно» попасться на глаза кому-то важному. Вельможе. Рыцарю. Принцу. Кому угодно, у кого есть замок, ванна и хотя бы одна комната без кур.

Шаг четвёртый: быть увезённой в лучшую жизнь.

Это было просто. Это было логично. Это было то, что героини делали в каждом втором фильме, который Кира смотрела, когда ей было пятнадцать и она ещё верила в принцев.

Я красивая, думала Кира. Ну, или буду красивой, когда отмоюсь. У этого тела есть потенциал — я видела отражение в ведре. Скулы, глаза, губы. Если убрать грязь, расчесать волосы и встать в правильный свет — я буду лучшей в этой деревне. В этом мире. Потому что здесь нет фильтров, нет ботокса, нет визажистов. Здесь естественная красота — это реальное конкурентное преимущество. И я знаю, как его использовать. Я этому училась десять лет. Ну, не совсем этому.

Но близко.

Она уснула с улыбкой.

Первой за два дня.

Утром Кира не пошла работать.

Марта, которая привыкла, что дочь после вчерашнего «сглаза» ведёт себя странно, не стала настаивать. Подоила козу сама, покормила кур, отправила Петьку за водой, накормила Мика (Мик не протестовал). Кира получила миску каши, посмотрела на неё, зажмурилась и съела.

Каша оказалась... ну, это была каша. Не вкусная. Не ужасная. Просто каша. Тёплая, серая, с консистенцией штукатурки, но — тёплая. И после вчерашнего голодного дня эта теплота ощущалась как роскошь.

Вот до чего я дошла, подумала Кира, облизывая ложку. Я считаю тёплую ячменную кашу роскошью. Мне двадцать пять лет. То есть четырнадцать. Я даже не знаю, сколько мне лет. Я — кризис идентичности на двух ногах.

После завтрака Кира приступила к шагу первому.

Отмыться.

Она набрала воды из колодца — два ведра, это заняло двадцать минут и стоило ей мозоли на правой ладони (левая уже была в мозолях, так что баланс восстановился). Нагрела воду на печи. Вышла за дом, к задней стене хижины, где её никто не видел.

Мыла по-прежнему не было. Но за ночь Кира вспомнила кое-что.

В прошлой жизни, в своей бесконечной ленте, между рекламой сывороток и гайдами по осознанности, она однажды наткнулась на видео. Какая-то девушка с тремя тысячами подписчиков рассказывала про «натуральные средства для кожи». Кира не досмотрела — зачем ей натуральные средства, если у неё контракт с корейским брендом? — но одна фраза застряла в памяти: «Зола и жир — это натуральное мыло. Смешайте, дайте постоять, и готово».

Зола и жир.

Золы было навалом — печь топилась каждый день. Жир... Кира порылась в «кладовке» — углу хижины, где стояли горшки и мешки. Нашла глиняный горшок с чем-то белым и вонючим. Понюхала. Глаза заслезились. Это был жир. Животный. Какой именно — козий, свиной, что-то ещё — Кира предпочла не уточнять.

Она зачерпнула горсть золы, шлёпнула сверху кусок жира и начала мешать.

Результат был... интересным.

Получилась серая масса с консистенцией жидкого цемента и запахом, который можно было описать как «горелая свинья в дождливый день». Кира посмотрела на это и подумала: В прошлой жизни я использовала очищающий бальзам за три тысячи рублей с ароматом розы и бергамота. Сейчас я буду мазаться горелой свиньёй. Эволюция в обратную сторону.

Она намазала этой массой руки. Потёрла. Масса пенилась

— слабо, неохотно, как студент на первой паре, — но пенилась. Кира тёрла и тёрла, и грязь сходила. Медленно. Слой за слоем.

Через час она стояла за хужиной, мокрая, покрасневшая, с кожей, которая горела от золы, но — чистая. Относительно чистая. По стандартам этого мира — стерильная.

Волосы были сложнее. Кира попыталась вымыть их тем же составом из золы и жира, но результат был удручающим: волосы стали жирнее, чем были. Она промыла их водой трижды. Стало лучше. Не идеально — далеко не идеально, — но сойдёт.

Окей, подумала она, отжимая волосы и глядя на своё тело. Чистая. Более или менее. Шаг первый выполнен. Теперь — шаг второй.

Одежда.

В хижине Киры было три предмета гардероба: рубаша, в которой она спала (серая, рваная, с пятнами неизвестного происхождения), юбка (бурая, заштопанная, длиной до щиколоток) и платок (грязно-белый, бывший белый, когда-то давно бывший белый).

В прошлой жизни, подумала Кира, перебирая эти вещи, у меня был гардероб на сто двадцать вешалок. Семнадцать пар джинсов. Двадцать три платья. Сорок один топ. Обувь — я даже не считала. Сумки — восемь, из которых четыре были подарены брендами, две — куплены на собственные деньги и две — украдены у Насти (она не заметила). А здесь у меня

— рубаха, юбка и платок. И всё это пахнет козой.

Она выстирала рубаху и юбку в ледяной воде. Без мыла — «мыло» из золы и жира слишком ценно, чтобы тратить на одежду. Просто вода, камень для отбивания и сорок минут ручного труда, от которого заныли плечи, спина и все мышцы, названия которых Кира знала благодаря инструктору Алёне с пилатеса.

Вещи она повесила сушиться на забор. Забор покосился ещё сильнее, но выдержал.

Пока одежда сохла, Кира занялась волосами. Расчёски не было. Вместо расчёски — рыбья кость, которую она нашла за печкой. Грубая, с острыми зубцами, но — работала. Кира расчёсывала волосы сорок минут. Пятнадцать из них она плакала, потому что колтуны не поддавались, и каждый рывок вырывал клочок волос. Но в итоге — волосы были расчесаны. Мокрые, тусклые, но расчесанные.

Она заплела их в косу. Не французскую, не рыбий хвост, не ту сложную штуку с пятью прядями, которую она показывала в гайде «10 причёсок за 5 минут» (цена гайда — 1 990 рублей). Просто косу. Обычную. Из трёх прядей. Единственную, которую она могла заплести без зеркала и без шпилек.

Потом — лицо.

Кира вспомнила ещё один обрывок из прошлой жизни. Не видео — разговор. Она сидела в салоне красоты, ей делали маску из глины, и косметолог болтала: «Знаешь, раньше женщины умывались козьим молоком. Клеопатра купалась

в молоке. Молочная кислота — натуральный пилинг, мягко отшелушивает...» Кира не слушала. Она листала Инстаграм.

Но теперь она вспомнила.

Козье молоко. У неё было козье молоко.

Она зачерпнула немного из утреннего ведра — Марта, к счастью, ушла в поле и не видела, — и нанесла на лицо. Молоко было тёплым, жирным, пахло козой. Кира оставила его на пять минут (она не знала, сколько нужно, но пять минут — это стандарт для масок в прошлой жизни) и смыла.

Кожа стала мягче. На полтона. Может, на четверть тона. Может, Кире показалось. Но она решила, что не показалось, потому что ей нужно было во что-то верить.

Кира Волкова, подумала она, глядя на своё отражение в ведре. Бьюти-блогер. Модель. Лицо бренда. Моешься золой и свиным жиром, расчёсываешься рыбьей костью, делаешь маску из козьего молока. Твоя утренняя рутина стоит ноль рублей и достоинства.

Из ведра на неё смотрело лицо, которое стало чуть чище, чуть свежее, чуть менее «крестьянским». Не красавица. Не модель. Но — девочка с правильными чертами, которая выглядела лучше, чем любая другая девочка в этой деревне. Потому что другие девочки не мылись. Вообще. Никогда. Ну, почти никогда. Стандарты гигиены в этом мире были такими, что Кира, помывшись раз в день, уже считалась бы одержимой.

Шаг второй выполнен, подумала Кира. Теперь — шаг тре-

тий.

Шаг третий оказался сложнее, чем она думала.

Тракт — главная дорога, по которой ездили всадники, купцы и повозки — был в часе ходьбы от деревни. Кира узнала это от Петьки, который болтал без умолку и с радостью отвечал на любые вопросы, если его подкупить обещанием покатасть на спине (Кира пообещала и тут же пожалела — Петька весил как взрослый пёс и острые коленки впивались в рёбра).

— А кто ездит по тракту? — спросила Кира, пока Петька сидел у неё на спине и дёргал за косу.

— Все ездят. Купцы. Солдаты. Монахи. Иногда — рыцари!

— Рыцари?

— Ага! В доспехах! На конях! Один раз я видел рыцаря, у него конь был БЕЛЫЙ, а доспехи БЛЕСТЕЛИ, и...

— А часто они ездят?

— Не знаю. Иногда. Когда война где-то или когда турнир.

— А сейчас? Сейчас кто-нибудь ездит?

Петька задумался. Это выглядело как физическое усилие — лоб нахмурился, рот приоткрылся, глаза уставились в одну точку.

— Вчера проехала повозка с репой, — сказал он наконец.

— Мне не нужна повозка с репой, Петька.

— А что тебе нужно?

Принц, подумала Кира. Мне нужен принц. Или граф. Или



барон. Или хотя бы рыцарь с замком и горячей водой. Кто угодно, лишь бы у него были стены из камня, а не из навоза, и больше одной комнаты.

— Мне нужен кто-нибудь... важный, — сказала она вслух.

— Важный — это какой?

— С конём. С доспехами. С... с деньгами.

Петька посмотрел на неё с выражением, которое говорил: «Моя сестра точно сошла с ума, но пока она катает меня на спине, мне всё равно».

— Через две недели ярмарка в Вальдене, — сказал он. — Там бывают важные.

Две недели. Кира могла подождать две недели. Она ждала однажды три недели, пока бренд утвердит макет рекламного поста — и это было намного мучительнее.

Но ждать просто так она не собиралась. Она собиралась готовиться.

Следующие дни были посвящены одной цели: стать максимально красивой при минимуме ресурсов.

Каждое утро Кира вставала затемно — не потому что холода, а потому что козу нужно было доить до рассвета, и Марта не принимала отговорок — и после дойки (она научилась, хотя коза по-прежнему смотрела на неё с презрением) уходила за дом и проводила свою «утреннюю рутину».

Умывание козьим молоком. Мытьё золой и жиром. Расчёсывание рыбьей костью. Заплетание косы. Вот и вся рутина.

Пять шагов вместо двадцати трёх, которые были в её гайде «Утро без стресса».

Знаете, в чём ирония? — думала Кира, расчёсывая волосы на третий день. — В прошлой жизни моя утренняя рутина занимала полтора часа, и я всё равно была недовольна собой. Здесь она занимает двадцать минут, и я горжусь тем, что мои волосы не склеились в один колтун. Планка упала. Планка не просто упала — она провалилась сквозь землю, прошла через ядро планеты и вылетела где-то в Австралии.

Но были и проблемы.

Главная проблема: Кира не работала.

Она тратила утра на «уход за собой», дни — на вылазки к тракту (разведка: кто ездит, когда, как часто), а вечера — на попытки улучшить свою внешность. Марта замечала. Йорн замечал — по-своему, молча, одним взглядом, который стоил тысячи слов, и все эти слова были неодобрительными.

На четвёртый день Марта сказала:

— Ты сегодня не работала.

— Я была занята, — ответила Кира.

— Чем?

— ...Делами.

— Какими делами? Ты полдня сидела у ручья и мыла голову. Полдня! Воду потратила, дрова потратила, а грядки кто полоть будет? Дух святой?

— Мама, я...

— Не работаешь — не ешь, — сказала Марта. И это не бы-

ло угрозой. Это было правилом. Простым, жёстким, не подлежащим обсуждению. Как гравитация. Как смерть. Как серая каша.

Кира не получила ужин в тот вечер.

И на следующий вечер тоже — потому что она снова провела день у тракта вместо поля.

Два дня без еды. Два дня на воде из колодца и огрызке репы, который она нашла за печкой и съела целиком, вместе с кожурой и хвостиком, не задумываясь о пестицидах, калорийности и гликемическом индексе. Потому что когда ты голоден по-настоящему, тебе плевать на гликемический индекс. Тебе плевать на всё. Ты хочешь есть.

В прошлой жизни, думала Кира, лёжа на своей доске с урчащим желудком, я не ела два дня перед съёмкой в купальнике. Я называла это «разгрузкой». Я была горда собой. Я выложила сторис: «День второй без еды. Чувствую лёгкость и ясность мысли ##♀#». Четырнадцать тысяч лайков. Двести комментариев: «Ты такая сильная!», «Вдохновляешь!», «Как ты это делаешь?».

Вот как я это делала: я знала, что через два дня будет суши-бар и бокал просекко. Я знала, что голод закончится, потому что у меня были деньги, и холодильник, и «Яндекс.Еда» на телефоне.

Здесь голод не закончится. Здесь нет «Яндекс.Еды». Здесь нет телефона. Здесь есть серая каша, которую ты получишь, только если вспашешь грядку. И я, идиотка, отказалась от

неё, потому что она «невкусная».

Она была вкусная. Она была тёплая и вкусная. И я хочу её обратно.

Но план ещё не был выполнен. Шаг третий требовал жертв. И Кира была готова жертвовать.

Вечером она взяла единственную юбку (постиранную, высушенную, почти не мятую), единственную рубашу (тоже постиранную, с заплатой на плече, но чистую) и платок (выстиранный до белизны — ну, до относительной белизны, до белизны по стандартам мира, где «белый» означает «не коричневый»).

Она оделась.

Заплела косу.

Умылась козьим молоком (украденным из утреннего ведра, пока Марта не видела).

Посмотрела на своё отражение в ведре с водой и решила, что выглядит... нормально. Не как модель. Не как бьюти-блогер. Но как чистая, ухоженная, симпатичная девочка, которая в этом мире, где женщины не мылись месяцами, выглядела как инопланетянка.

Хватит, подумала Кира. Хватит ждать две недели. Я пойду к тракту сейчас. Кто-нибудь проедет. Должен проехать. Вселенная мне должна — я умерла из-за мраморной раковины, меньшее, что она может сделать, — это послать мне приличного мужика на коне.

Она вышла из деревни на рассвете. Марта ещё спала —

точнее, делала вид, что спит. Йорн был в поле — он уходил затемно и возвращался затемно, и Кира иногда думала, что он не человек, а часть пейзажа, вроде дерева или камня.

Тракт оказался не дорогой, а направлением. Две колеи в грязи, разъезженные повозками, с лужами, в которых плавали листья и что-то живое. Никаких указателей, никакого асфальта, никаких разделительных полос. Просто — две колеи, уходящие в обе стороны к горизонту.

Кира выбрала место — небольшой холм у обочины, откуда дорога просматривалась в обе стороны — и села.

И стала ждать.

Первый час — ничего. Тишина. Птицы. Ветер. Кира сидела, смотрела на дорогу и думала о том, что в прошлой жизни час ожидания означал разряженный телефон и нервный срыв. Здесь час ожидания означал просто — час.

Второй час — повозка. Крестьянин с мешками. Грязный, бородатый, с таким выражением лица, будто жизнь обидела его лично и продолжает обижать. Он посмотрел на Киру, сплюнул и поехал дальше.

Нет, подумала Кира. Не то. Следующий.

Третий час — ещё одна повозка. Торговец тканями. Тотский, суетливый, с бегающими глазками. Он остановился, посмотрел на Киру оценивающе — как на товар — и Кире стало не по себе. Она отвернулась. Торговец пожал плечами и уехал.

Четвёртый час — монах на осле. Монах был толстый, осёл

был тощий. Монах посмотрел на Киру, перекрестился и прибавил ходу. Видимо, одинокая девочка у дороги вызывала у него теологические сомнения.

Пятый час — ничего.

Вселенная, подумала Кира, я начинаю сомневаться в твоей компетентности.

Желудок свело. Она не ела с вечера позавчерашнего дня — только огрызок репы и вода. Голова кружилась. Перед глазами плыло.

Может, уйти? — подумала она. — Вернуться домой. Съесть кашу. Серую, ужасную, прекрасную кашу. Забыть про принцев и доспехи. Полоть грядки, доить козу, жить как все.

Нет, ответила она сама себе. Ещё час. Один час.

Шестой час.

Кира слышала его раньше, чем увидела. Звон. Металлический звон — мерный, ритмичный, как метроном. Копыта по грязи — тяжёлые, уверенные. И ещё — голоса. Мужские голоса.

Она встала. Отряхнула юбку. Поправила косу. Выпрямила спину.

Из-за поворота выехали трое.

Первый — на коне. Конь был гнедым, не белым (Кира мысленно поставила минус), но крупным и ухоженным. Всадник — в доспехах. Доспехи блестели. Не так, как блещут доспехи в кино — ровным, фотошоппленным блеском,

— а по-настоящему: с пятнами, с царапинами, но блестя, отражая серое небо и превращая его в серебро.

Всадник был высоким. Широкоплечим. С лицом, которое Кира не могла рассмотреть из-за шлема — шлем был открытый, без забрала, но тень падала на глаза.

За ним ехали двое. На лошадях похуже — тощих, вялых. Сами — в кожаных куртках, без доспехов. Оруженосцы. Или слуги. Или кто тут ходит за рыцарями — Кира не разбиралась в средневековой иерархии.

Вот оно, подумала она. Доспехи. Конь. Свита. Это ОНО. Сердце заколотилось. Руки вспотели. Во рту пересохло. Окей, Кира. Ты снимала рекламу. Ты выходила на подиум. Ты делала живые эфиры на полмиллиона зрителей. Ты МОЖЕШЬ произвести впечатление на одного мужика в железном костюме.

Действуй.

Она шагнула на дорогу.

Не вышла — а именно шагнула. Так, как её учили на модельных курсах: плечи назад, подбородок чуть вверх, шаг от бедра, взгляд — прямой, уверенный, но не агрессивный. «Ты не идёшь к нему, — говорил её модельный коуч, которому она платила двадцать тысяч за занятие. — Ты позволяешь ему увидеть тебя».

Она позволила ему увидеть себя.

И — это сработало.

Всадник натянул поводья. Конь остановился. Забрызгал

Киру грязью — мелкие капли на подол юбки, — но Кира не дрогнула. В прошлой жизни она однажды не дрогнула, когда на показе у неё отклеилась ресница прямо на подиуме. Грязь на юбке — это мелочь.

Всадник снял шлем.

Лицо. Мужское лицо. Не красивое — нет, не в том смысле, в каком Кира понимала «красивое». Не модель. Не актёр. Но — лицо с характером. Резкие скулы, тёмные глаза, шрам на подбородке (романтично!), каштановые волосы до плеч, слипшиеся от пота (менее романтично). Лет двадцать восемь. Может, тридцать.

Он посмотрел на неё сверху вниз — буквально сверху вниз, потому что был на коне, а она стояла в грязи.

— Кто ты? — спросил он.

Голос был низким, хрипловатым. Как у радиоведущего. Или как у человека, который много кричит на поле боя. Или просто простужен.

— Я... Кирка, — сказала Кира. И тут же пожалела: «Кирка» — это не имя для девушки, которая пытается произвести впечатление на рыцаря. Это имя для садового инструмента. — Кира. Меня зовут Кира.

— Кира, — повторил он, и имя в его устах прозвучало иначе. Мягче. — Что ты делаешь одна на тракте?

Жду тебя, подумала Кира. Жду тебя шесть часов, голодная, в чистой юбке и с козьим молоком на лице.

— Я... шла в Вальден, — соврала она. — На ярмарку.



Заблудилась.

Всадник приподнял бровь. Тракт шёл прямо. Заблудиться на нём мог только человек без глаз. Но он не стал спорить.

— Одна? Без сопровождения?

— Я... да.

Он наклонился в седле. Посмотрел на неё внимательнее. И — Кира увидела это, потому что видела это тысячу раз в прошлой жизни — его взгляд изменился. Он увидел не крестьянку у дороги. Он увидел чистое лицо, расчёсанные волосы, прямую спину и глаза, которые смотрели на него не снизу вверх, а прямо. Как равная.

Это его зацепило.

— Тебе не стоит ходить одной, — сказал он. — Дороги опасны. Разбойники, дезертиры... — Он помолчал. — Я — сэр Ролан де Валькур. Рыцарь. У меня земли к северу отсюда. Я могу проводить тебя до Вальдена.

Сэр Ролан де Валькур. Рыцарь. Земли к северу. У Киры зашумело в ушах — то ли от голода, то ли от счастья.

— Это... очень любезно, сэр, — сказала она и улыбнулась.

Улыбка была отработана. Не широкая — широкая улыбка делает лицо круглым. Не закрытая — закрытая улыбка выглядит фальшиво. Полуулыбка. С лёгким наклоном головы. С прищуром. «Улыбка номер три» — так она называла её в прошлой жизни: «Я заинтересована, но не доступна».

Ролан улыбнулся в ответ.

— Садись, — сказал он и протянул руку. — Конь выдер-

жит двоих.

Кира взяла его руку. Ладонь была жёсткой, в мозолях, горячей. Он рывком поднял её в седло — легко, будто она ничего не весила (она и не весила — после трёх дней голодания).

Она оказалась позади него, на крупе коня, вцепившись в его пояс. Доспехи были холодными и пахли металлом. Конь был тёплым и пах конём. Мир сверху выглядел иначе — выше, шире, свободнее.

Я сделала это, подумала Кира, когда конь тронулся. Я, чёрт возьми, сделала это. Шаг третий — выполнен. Рыцарь. Доспехи. Конь. Земли к северу. Я еду в новую жизнь.

Только бы там была ванна.

Позади, на холме у обочины, остался след от её ног в грязи. Ветер дул с запада, гнал облака, шевелил траву. Никто не видел, как она уехала. Никто не заметил.

Кроме одного человека.

Томаш стоял на краю поля, с вязанкой дров на спине, и смотрел, как всадник с девушкой исчезает за поворотом тракта.

Он стоял долго. Потом поправил дрова на спине и пошёл к дому.

У дома Киры он остановился. Положил три полена у двери — молча, аккуратно, одно на другое. Посмотрел на дверь. Постоял.

И пошёл домой.

## Глава 3. Сияющие доспехи

Конь шёл ровным шагом, и Кира училась держаться в седле.

Это оказалось не так просто, как выглядело в фильмах. В фильмах героини сидели за героями с грацией лебедей, обхватив их за талию, положив подбородок на плечо, улыбаясь ветру. В реальности же лошадь двигалась не плавно, а рывками — вверх-вниз, вверх-вниз, — и каждый рывок отдавался в позвоночнике Киры так, будто её били лопатой. Она вцепилась в пояс Ролана — не за талию, а именно за пояс, за кожаный ремень с металлическими накладками, — и держалась изо всех сил, чтобы не сползти на круп.

Через пятнадцать минут она поняла, что до Вальдена не доедет. По крайней мере, живой.

— Сэр Ролан, — сказала она в его спину, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

— Да?

— А... далеко ли до Вальдена?

— Два дня пути.

Два дня. Кира представила себе два дня на этом животном. Два дня рывков, два дня натёртых бёдер, два дня коленей, впивающихся в её собственные колени. К концу второго дня она превратится в отбивную.

— А... ваши земли? Они по пути?

— Земли в стороне. Половина дня отсюда.

Половина дня. Это лучше, чем два. Значительно лучше.

— Может быть... — начала Кира, стараясь, чтобы это прозвучало как случайная мысль, — может быть, мне не обязательно ехать в Вальден прямо сейчас? Я могла бы... переждать в вашем замке. Отдохнуть. Собраться с силами.

Ролан молчал. Кира не видела его лица, но чувствовала, как напряглась его спина.

— Мой замок? — переспросил он.

— Ну да. Вы сказали — у вас земли к северу...

— Да. Земли. Замок... скромный.

— Мне не нужен пышный замок, — сказала Кира, и это была чистая правда: ей нужен был ЛЮБОЙ замок, лишь бы там были стены, крыша и что-нибудь, отдалённо напоминающее горячую воду. — Мне нужно место, где можно перевести дух. Я так устала.

Она чуть-чуть наклонилась вперёд. Не сильно — так, чтобы он почувствовал её вес на своей спине, но не столько, чтобы это было навязчиво. Приём номер семь из её ментального арсенала: «беспомощная девушка, которой нужна опора».

Ролан помолчал ещё несколько секунд. Потом сказал:

— Хорошо. Мы заедем в мои земли. Ты отдохнёшь. Потом я провожу тебя в Вальден.

— Спасибо, сэр Ролан.

— Просто Ролан. Тебе не обязательно называть меня «сэр».

Уже сдвиг, — подумала Кира. Через час — «Ролан». Через день — «Ро». Через неделю — что-нибудь совсем интимное. Я знаю, как это работает.

Она откинулась чуть назад — тоже приём, «дать пространство» — и стала смотреть по сторонам.

Мир вокруг был серым и зелёным. Серым — небо, дорога, камни. Зелёным — поля, кусты, кроны деревьев. Никаких других цветов. Ни рекламных щитов, ни цветочных клумб у обочины, ни ярких машин, ни разноцветных вывесок. Мир, лишённый пигмента. Мир до изобретения маркетинга.

В этом мире, — подумала Кира, — моя жёлтая куртка от Balenciaga произвела бы фурор. Люди бы падали в обморок от одного цвета.

Через час езды они остановились у ручья — напоить коня. Ролан спешился первым, потом снял Киру с седла. Опустил её на землю аккуратно, как будто она была фарфоровой. Кира отметила это. Мужчина, который аккуратно снимает с коня, — это мужчина, который заботится. Или мужчина, который хочет показаться заботливым. Кира пока не разобралась, что из двух.

Пока конь пил, Ролан снял шлем окончательно и положил его на камень. Кира впервые смогла рассмотреть его при дневном свете.

Он был... ну, он был мужчиной. Не тем мужчиной, которых Кира выкладывала в свои сторис с подписью «мой краш ##», — те были стерильно красивы, вычищены, отутюжены,

с ровным загаром и белыми зубами. Ролан был другой. Кожа обветренная, с легким шелушением на скулах (Кира мысленно прописала ему увлажняющий крем, которого у него не будет никогда). Глаза — тёмно-карие, с сеткой мелких морщинок в уголках (мужик много щурится на солнце). Волосы — каштановые, тяжёлые, слипшиеся от пота под шлемом; Кира поймала себя на том, что мысленно моет их шампунем и наносит бальзам, и заставила себя переключиться. Шрам на подбородке — тонкий, ровный, старый. Не боевой шрам, скорее — упал в детстве на что-то острое. Но пусть будет боевой. Так романтичнее.

— Ты смотришь на меня, — сказал Ролан, поднимая взгляд от коня.

— Прости, — сказала Кира. И тут же добавила: — Просто... у вас интересное лицо.

Это был безотказный комплимент. Не «красивое» — красивое банально, «красивое» говорят все. «Интересное» — это загадочно. «Интересное» заставляет человека думать: а что она увидела? что там интересного? интересное — это хорошо, да?

Ролан улыбнулся уголком рта.

— Первый раз слышу это про своё лицо.

— Значит, вокруг вас невнимательные люди.

Он усмехнулся. Достал из седельной сумки хлеб, разломил. Половину протянул Кире.

Она посмотрела на хлеб.

Хлеб был чёрным, тяжёлым, с корочкой цвета угля. От него пахло. Не так, как пахнет свежий хлеб из французской пекарни на Патриарших. От этого хлеба пахло зерном, дымом, чуть-чуть — плесенью. Но пахло.

Кира не ела почти три дня.

Она взяла кусок. Откусила.

Хлеб был жёстким. Кислым. С отрубями, которые впивались в дёсны. С каким-то маленьким чёрным зёрнышком, которое хрустнуло на зубе, и Кира предпочла не думать, что это было — тмин или насекомое.

Это был самый вкусный хлеб в её жизни.

Она ела медленно, стараясь не показывать, насколько голодна. В прошлой жизни она умела есть на камеру — маленькие кусочки, изящные жесты, лёгкая улыбка после каждого глотка. Здесь она использовала все эти навыки, чтобы не наброситься на хлеб как животное.

Ролан наблюдал.

— Ты давно не ела, — сказал он.

— С утра.

— Врёшь.

Кира посмотрела на него. Он смотрел спокойно, без осуждения. Просто констатировал.

— С позавчера, — призналась она.

— Почему?

— Мать сказала — не работаешь, не ешь. А я... была занята.

— Чем?

Тобой, — подумала Кира. Тобой была занята. Я готовилась к тебе три дня. Мыла голову золой, расчёсывалась рыбьей костью, стирала юбку в ледяной воде — всё ради того, чтобы ты меня увидел.

— Готовилась к поездке, — сказала она.

Ролан кивнул. Не стал допытываться. Отрезал ножом кусок сыра — маленький, желтоватый, — протянул ей. Кира взяла. Сыр был солёным и острым. После хлеба он показался ей божественным.

— Ты необычная, — сказал Ролан.

— Чем?

— Крестьянка не смотрит рыцарю в глаза. Крестьянка не говорит «спасибо». Крестьянка кланяется, отводит взгляд и мнёт край юбки в руках. Ты — не такая.

О, — подумала Кира. Вот оно. Я забыла кланяться. Я, идиотка, забыла кланяться. Я ходила по этому миру как по подиуму, потому что не знала, что здесь так не ходят.

Но переигрывать было поздно.

— Мне не нравится кланяться, — сказала она. — У меня спина болит.

Ролан рассмеялся. Впервые. Смех у него был хороший — низкий, короткий, настоящий. Не тот отработанный смех, которым смеются в Инстаграме.

— У тебя спина болит, — повторил он. — Пятнадцать лет, а спина уже болит. Что же будет в тридцать?



— В тридцать я буду сидеть в мягком кресле, — сказала Кира, — а другие люди будут кланяться мне.

Он посмотрел на неё. Долго. Что-то в его взгляде изменилось — но Кира не поняла что.

— Может быть, — сказал он наконец. — Может быть, и будешь.

Он свистнул коню. Конь поднял голову от ручья. Ролан подхватил Киру и посадил в седло — снова аккуратно, снова без усилия, — и они поехали дальше.

Второй час был легче первого. Кира приспособилась. Она поняла, что если не бороться с движением коня, а поддаваться ему, то трясёт меньше. Она перестала сжимать пояс Ролана до онемения пальцев и держалась свободнее. Она даже смогла думать не только о том, чтобы не упасть.

И думала она вот о чём.

Он не тот, кем я его представляла.

Кира ожидала болтуна — рыцаря, который будет рассказывать о своих подвигах, хвастаться землями, поигрывать мышцами. Ролан был тихим. Он не рассказывал о себе. Он не спрашивал о ней — во всяком случае, не назойливо. Он ехал молча, и молчание не было неловким. Молчание было — просто молчание.

Кира не привыкла к молчанию. В её прошлой жизни молчание было ошибкой. Пустотой, которую нужно заполнить постом, историей, стримом. Если ты молчишь — тебя забывают. Если тебя забыли — тебя нет.

Здесь молчали часами, и никто никого не забывал.

Она попыталась начать разговор.

— Ролан.

— Да?

— Расскажи о своих землях.

Он помолчал. Так долго, что Кира решила, что он не ответит.

— Земли, — сказал он наконец. — Есть замок. Небольшой. Есть деревня рядом. Есть лес.

— И?

— И всё.

— А... слуги? Крестьяне?

— Есть. Несколько.

— Несколько?

Он снова замолчал. Кира почувствовала, что она наступила на что-то. На что — она не поняла, но точно наступила.

— Отец умер два года назад, — сказал Ролан ровным голосом. — Оставил долги. Часть земель я продал, чтобы расплатиться. Часть крестьян ушла — искать лучшего господина. Осталось... немного.

Так, — подумала Кира. Тревожный звоночек номер один. Разорившийся дворянин. Классика.

Но она не отступила. Разорившийся — не значит бедный. У него всё равно есть замок. Замок с настоящими стенами, а не глиной. Это уже роскошь, о которой в её нынешней жизни можно только мечтать.

— Тяжело было? — спросила она мягко. Приём номер девять: «сочувствующая слушательница».

— Тяжело, — сказал Ролан. И больше ничего не добавил. Ехали дальше молча.

Через час свернули с тракта на узкую дорогу, ведущую через лес. Двое сопровождающих ехали позади — Кира периодически оборачивалась и смотрела на них. Они были странные. Не похожи на слуг. Скорее — на попутчиков. Один — молодой, лет двадцати, тощий, с гнойным прыщом на щеке (Кира мысленно поставила ему диагноз и назначила лечение — салициловая кислота, которой у него не будет никогда). Второй — постарше, лет тридцати пяти, с седой бородой и хитрыми глазами. Он поймал её взгляд один раз, подмигнул. Кира отвернулась.

Странная у него свита, — подумала она. У нормального рыцаря должны быть — как это называется? — оруженосцы. В униформе с гербом. А эти — как из таверны. Как будто он их нанял в дороге.

Тревожный звоночек номер два.

Но Кира предпочла не слышать.

Замок показался на закате.

Кира ждала момента, когда он появится. Она много раз видела средневековые замки — в фильмах, в сериалах, в туристических путеводителях (она провела как-то день в Праге и сходила на экскурсию в замок, где потратила больше времени на выбор ракурса для фото, чем на осмотр). Она пред-

ставляла: острые башни, флаги, мост через ров, стража у ворот, каменные стены до неба.

Она увидела башню.

Одну. Круглую. Каменную. С осыпающейся кладкой. С зияющей дырой в верхней части, будто кто-то откусил от неё кусок. Без флагов. Без стражи. С деревянной дверью внизу — обычной деревянной дверью, какие бывают у сараев.

Вокруг башни — стена. Точнее, то, что от неё осталось: полуразрушенный контур, местами высотой в два человеческих роста, местами — по колено. Часть камней растащена. Между камнями пробивается трава. У одного из проломов пасётся коза. Не породистая рыцарская коза — обычная тощая крестьянская коза, которая посмотрела на Ролана с тем же презрением, с каким смотрела на Киру домашняя коза.

Ров был. Точнее — канава. Заросшая ряской, с зелёной водой, из которой торчала какая-то ветка. Через канаву был перекинут дощатый настил. Не мост — настил. Из трёх досок. Одна доска треснула.

Кира смотрела на это и молчала.

— Вот, — сказал Ролан. Голос был ровным. Слишком ровным. — Мои владения.

Он спешился. Снял её с коня. На этот раз — быстрее, чем раньше. Ей показалось — из смущения.

Двое сопровождающих спешили тоже. Молодой с прыщом взял поводья, повёл коня к башне. Старший с бородой хмыкнул и пошёл следом, не сказав ни слова.

Кира стояла перед башней и старалась держать лицо.

Держи лицо, Кира. Держи лицо. Ты умела держать лицо, когда Настя выкладывала фото в том же платье, что и ты, в тот же день. Ты умела держать лицо, когда партнёрство со-  
рвалось за час до подписания. Держи лицо сейчас.

— Красиво, — сказала она. Голос дрогнул только чуть-чуть.

Ролан посмотрел на неё. В его глазах было что-то — вина? усталость? облегчение? — Кира не смогла определить.

— Пойдём, — сказал он. — Внутри лучше.

Внутри было не лучше.

Первый этаж башни — круглая комната. Каменные стены. Каменный пол. Очаг посреди — не камин, а именно очаг, круглая яма с закопчёнными камнями, над которой был подвешен котёл на цепи. Дым уходил в отверстие в потолке — не в дымоход, просто в дыру.

Стол — длинный, деревянный, с рубцами от ножа. Лавка — одна. Стул — один, у стены, с прогрызенной обивкой (кем прогрызенной? крысами? Кира не хотела знать). У стены — сундук, обитый железом. У другой стены — стойка с оружием: два меча, один щит, одно копьё с обломанным древком. У третьей стены — лестница наверх, деревянная, крутая, без перил.

И запах.

Запах был лучше, чем в её хижине. Значительно лучше. Здесь не пахло курами, поросёнком и людьми, которые не

мылись. Здесь пахло старым камнем, дымом, сыростью, шерстью, кожей. Мужским запахом — потом, металлом, немывшим телом, но — по-другому. Не так резко.

Но пахло.

Кира стояла посреди этой комнаты и медленно осознавала: это не «скромный замок». Это разорённая башня. Здесь не будет горячей воды. Не будет пуховой постели. Не будет служанки, расчёсывающей её волосы. Не будет ничего, ради чего она сюда ехала.

Тревожный звоночек номер три. И четыре. И пять.

— Присаживайся, — сказал Ролан, указывая на лавку.

Кира села.

Он подошёл к очагу, поворошил угли. Огонь оживился — слабо, но оживился. Ролан подложил дров. Повесил над огнём небольшой котелок с водой.

— Есть хочешь? — спросил он.

— Да, — сказала Кира.

Он открыл сундук у стены. Достал завёрнутый в тряпку кусок сушёного мяса. Луковицу. Полкраюхи того же чёрного хлеба, что был у него в седельной сумке.

Он резал мясо тонкими полосками. Луковицу — крупными кусками. Всё это отправил в котелок. Кинул щепотку соли из глиняной баночки. Помешал.

Пахло хорошо. Пахло — едой.

Кира сидела и смотрела, как рыцарь готовит ей ужин. В прошлой жизни этого не делал ни один мужчина. Мужчины

из прошлой жизни водили её в рестораны, где еду приносили официанты, а платил либо мужчина, либо, если Кира хотела показать независимость, они делили счёт пополам. Ни один из них не разжигал для неё огонь и не варил суп в котелке.

Это, — подумала она, — странно романтично.

— Ты сам готовишь? — спросила она.

— Некому больше, — сказал Ролан, не оборачиваясь.

— А... те двое?

— Йохан и Куно? Йохан не отличит соль от золы. А Куно... — Ролан помолчал. — Куно предпочитает есть, а не готовить.

— Они твои слуги?

Ролан наконец обернулся. Посмотрел на неё. В глазах — та самая усталость, которую Кира заметила раньше.

— Они мои друзья, — сказал он. — Такие же... как я.

Такие же — какие? — хотела спросить Кира. Но не спросила. Она уже знала.

Такие же — разорённые. Такие же — без земель, без семьи, без будущего. Такие же — притворяющиеся, что всё в порядке, пока притворяться уже невозможно.

Она сидела на лавке в разрушенной башне, ела суп, который сварил ей рыцарь без гроша в кармане, и медленно понимала, что её план — гениальный, безотказный план побега с принцем — рухнул. Не с треском, не эффектно. Тихо. Как башня, которая осыпается по камешку.

Но пока что она ела суп. Суп был горячий, солёный, с лу-

ком и мясом. Первая горячая еда за три дня, если не считать серую кашу. Она ела и молчала. Ролан ел напротив. Тоже молча.

Двое его «друзей» пришли позже, тоже сели за стол. Йохан — молодой, с прыщом — робко улыбнулся Кире и уставился в миску. Куно — с бородой — смотрел на неё дольше, чем прилично. Кира отвела взгляд.

— Куно, — сказал Ролан спокойно, не поднимая глаз от миски.

— А? — сказал Куно.

— Не смотри.

Куно хмыкнул. Отвернулся. Но что-то в этом «хмыкнул» было такое, от чего Кира почувствовала, как по спине прошёл холодок.

Мне не нравится этот человек, — подумала она. И я здесь одна. С тремя мужчинами. В башне без стражи, без ворот, без крыши.

Она допила суп. Поставила миску.

— Спасибо, — сказала она. — Очень вкусно.

Ролан кивнул.

— Комната наверху, — сказал он. — Она пустая, но там есть постель. Можешь спать там.

— А... вы?

— Я лягу здесь, — сказал он. — У очага.

— А... они? — Кира кивнула на Йохана и Куно.

— Они лягут в конюшне, — сказал Ролан. Голос был ров-



ный, но с металлом. — Правда, друзья?

Йохан кивнул охотно. Куно — не сразу, но кивнул.

— Правда, — сказал он.

Комната наверху была лучше нижней. И хуже.

Лучше — потому что чище. Пыльно, но не грязно. Пусто, но не разрушено. Каменные стены, каменный пол, узкое окно с деревянными ставнями. Кровать — настоящая деревянная кровать с матрасом и одеялом. Не пуховая, конечно, — матрас был набит соломой, одеяло — шерстяное, колючее, — но это была КРОВАТЬ. Первая кровать в её новой жизни.

Хуже — потому что холодно. Каменные стены не грели. Из окна дуло. И тишина здесь была не уютной, а гулкой — как в склепе.

Кира сняла верхнюю юбку, оставшись в рубахе. Легла на кровать. Накрылась одеялом.

Полежала.

Встала.

Подошла к двери. Двери не было. Был проём с занавеской. Никакого засова, никакого замка. Любой может войти в любую минуту.

Кира стояла у проёма и слушала.

Внизу разговаривали. Тихо, но она различала голоса.

— ...глупая девка, — говорил Куно. — Что она о себе возомнила?

— Замолчи, — говорил Ролан.

— А что? Я правду говорю. Крестьянская девка на трак-

те, одна, в чистой юбке — она сама к тебе прыгнула, Ролан. Знаешь, что это значит?

— Я сказал: замолчи.

— Это значит — она ищет, кого бы окрутить. А ты попался. Красавчик наш.

Смех. Йохан хихикнул тонко, потом осёкся.

— Куно, — сказал Ролан. Голос теперь был не с металлом, а с чем-то похуже. — Ещё одно слово о ней — и я тебя выгоню из башни. С ножом или без ножа — как хочешь.

Пауза.

— Ладно, ладно. Молчу.

Тишина.

Кира отошла от проёма. Села на кровать.

Я не окручиваю тебя, Ролан, — подумала она. То есть окручиваю. Но не для того, чтобы содрать с тебя деньги. Для того, чтобы выбраться из хижины с курами.

Хотя, если подумать, это одно и то же.

Она легла. Закрыла глаза.

Завтра, — подумала она. Завтра я решу. Может, всё не так плохо. Может, замок — это временно. Может, у него есть план — вернуть земли, восстановить всё. И тогда я буду рядом. С самого начала. И это будет как в сериале — «женщина, которая создала империю мужчины».

Или не будет.

Завтра решу.

Она уснула.

Ей приснился прошлый мир.

Не какой-то конкретный день — просто фрагменты. Запах кофе. Свет утреннего солнца через жалюзи. Звук уведомления в телефоне. Кожаное сиденье такси. Голос мамы: «Ты поела?» Взгляд на себя в зеркало лифта — и лёгкое, автоматическое движение — поправить волосы, провести пальцем по губам, наклонить голову.

Она проснулась и не сразу поняла, где находится.

В темноте. На жёсткой кровати. С колючим одеялом. С запахом камня и дыма.

За окном светало. Серый свет. Птицы.

Кира лежала и смотрела в потолок — каменный, с трещиной. Слёзы текли по вискам в волосы. Она не всхлипывала — просто лежала и плакала. Тихо. Долго.

Потом встала.

Оделась.

Спустилась вниз.

Ролан спал у очага, завернувшись в плащ. Огонь погас. В углу, за столом, спал сидя Йохан — видимо, ослушался приказа и вернулся в башню. Куно не было.

Кира подошла к очагу. Постояла над Роланом.

Он спал спокойно. Лицо было моложе, чем днём — во сне у него разгладились морщины между бровей. На плаще, которым он накрылся, была заплата. Кожаные сапоги стояли рядом, и в одном из них была трещина, замотанная тряпкой.

Ты не плохой человек, — подумала Кира. Ты хороший че-

ловек. Ты аккуратно снимал меня с коня. Ты варил мне суп. Ты защитил меня от Куно, хотя тебе было бы проще промолчать. Ты не виноват, что твой отец умер и оставил тебе долги. Ты не виноват, что твой замок — не замок. Ты не виноват в моём разочаровании.

Но я не могу здесь остаться.

Я не могу жить в этой башне, где нет ворот, нет стражи, нет горячей воды и где Куно смотрит на меня, как на кусок мяса. Я не могу быть женой рыцаря без земель, который варит суп в котелке и латает сапоги тряпками. Я не для этого сюдаехала.

Я думала, что ты — билет из моей жизни. А ты — та же самая жизнь, только с каменными стенами вместо глиняных.

Прости.

Она вышла из башни на цыпочках.

Утренний воздух был холодным. Мокрая трава — ледяной. Кира прошла через пролом в стене — не через настил с треснувшей доской, а через пролом, где было тише. Обогнула ров с зелёной водой. Вышла на дорогу, ведущую к тракту.

Пошла.

Через час — уже пешком, уже с натёртыми пятками, уже с ноющей от бессонной ночи головой — она услышала за спиной крик.

— КИРА!

Она обернулась.

Ролан стоял на дороге в ста шагах позади. Без коня. Без

доспехов. В одной рубаше, босиком. Волосы растрёпаны. Он бежал за ней.

Кира остановилась.

Он подбежал. Тяжело дышал.

— Ты уходишь, — сказал он.

Не спросил. Констатировал.

— Да, — сказала Кира.

— Почему?

Она смотрела на него. И на его расстроенное лицо. И на его босые ноги в утренней росе. И на его глаза, в которых было что-то очень взрослое и очень одинокое.

— Я не могу, — сказала она. — Я думала, что смогу. Я не могу.

— Что «не могу»?

Жить в разорённой башне. Быть женой человека, у которого ничего нет. Отказаться от мечты о горячей ванне. Стать частью чужого падения.

— Не могу здесь остаться, — сказала она вслух.

Он смотрел на неё. Долго. Молча.

— Ты искала не меня, — сказал он наконец. — Ты искала... что-то другое. Кого-то другого. Того, кем я не являюсь.

— Прости, — сказала Кира.

Он усмехнулся. Горько.

— Не извиняйся. Ты не первая. Я, наверное, сам виноват. Наверное, слишком блестят доспехи. Люди видят блеск и думают, что за блеском — золото. А там... — Он развёл

руками. — А там жёсть. Полированная жёсть.

Он замолчал.

— Тебе есть куда идти? — спросил он.

— Домой.

— Далеко?

— Дня два пешком.

Он кивнул. Подумал. Сунул руку в карман рубахи, вытащил маленький кожаный мешочек. Развязал. Внутри было несколько монет — не много, четыре или пять, тусклых, потёртых.

Он вложил ей в ладонь три монеты.

— Возьми, — сказал он. — На еду. На ночлег в трактире. Дорога опасная — не ночуй в поле, слышишь? Иди в трактир. У любой деревни есть трактир.

Кира смотрела на монеты в своей ладони. Три медные монеты. Мужчина, которому нечего есть, отдавал ей последнее.

— Ролан, — сказала она. Голос сорвался. — Я не могу это взять.

— Возьмёшь, — сказал он. — Иначе я пойду с тобой до самого дома, а мне некогда.

Он попытался улыбнуться. Улыбка не получилась.

— Иди, — сказал он. — И... не жалея. Ни о чём не жалея. Ты мне ничего не должна.

Он повернулся и пошёл обратно к башне. Босиком по мокрой дороге. Не оборачиваясь.

Кира стояла с монетами в кулаке и смотрела ему вслед.

Дурак, — подумала она. Хороший дурак.

Потом развернулась и пошла в другую сторону.

Дорога домой заняла три дня.

Три дня, три ночи, три встречи с людьми, о которых Кира постарается потом не вспоминать. Один раз пьяный мужик у трактира схватил её за руку, и она вырвалась только потому, что укусила его до крови. Один раз она заблудилась в лесу и час стояла, вслушиваясь в шаги, которые ей мерещились. Один раз она уснула в стоге сена и проснулась от того, что кто-то шарил в её карманах — она закричала, и кто-то убежал, и Кира не досчиталась одной монеты.

Ей осталось две. И полкраюхи хлеба, купленной в первый день.

Когда она подошла к своей деревне на третий вечер, солнце садилось. Дым поднимался из труб. Пахло дымом, навозом, вечерней сыростью, чем-то жареным — луком, наверное.

Кира стояла на краю деревни и смотрела на хижины.

Её собственная хижина была третьей от края. Кривая, серая, с дырявой крышей. Из щели в стене пробивался тусклый свет. Кто-то был дома.

Она пошла туда.

Ноги горели. Пятки были стёрты в кровь. Юбка — грязная, порванная в двух местах. Волосы — снова спутанные, снова тусклые, снова с соломой. Всё, чего она добилась «утренней рутиной», исчезло за три дня дороги.

Она подошла к двери. Постояла.

Толкнула.

Внутри — тот же запах, что и раньше. Куры. Поросёнок. Дым. Люди.

Марта стояла у печи. Обернулась. Увидела Киру.

Замерла.

Потом положила деревянную ложку на край печи. Медленно. Как будто боялась разбить.

— Мама, — сказала Кира.

И заплакала.

Не так, как плакала в первое утро — не истерично, не громко, не с подвываниями. Тихо. Стоя в дверях, с двумя монетами в кулаке, с разбитыми пятками и с осознанием, что бежать некуда.

Марта подошла. Молча. Обняла.

От неё пахло дымом и потом и чем-то ещё, что Кира не смогла назвать. Может, это пахла мать. Может, любая мать в любом мире пахнет одинаково — так, что от этого запаха хочется плакать сильнее.

Марта не спросила, где она была.

Не спросила, почему ушла.

Не спросила, что случилось.

Она просто держала Киру. Долго. Пока та не перестала всхлипывать.

Потом отстранила. Посмотрела в лицо. Провела шершавой ладонью по щеке — вытерла слёзы.



— Иди, — сказала Марта. — Сядь. Есть будешь.

Кира села за стол. На лавку. Ту самую, где сидела неделю назад и отказывалась от каши.

Марта налила ей полную миску. Каша была серой. Тёплая пар поднимался над ней.

Кира взяла ложку.

И ела.

Долго. Медленно. Не глядя ни на кого. Просто ела серую тёплую кашу, которая пахла ничем и была самой прекрасной едой в её жизни.

За столом сидели дети — Петька, Анка, Мик. Они смотрели на неё во все глаза, но никто не сказал ни слова. Марта что-то делала у печи, спиной к Кире. Йорн — Кира только сейчас заметила — сидел в углу, на своём табурете, и точил что-то ножом. Он не поднял головы, когда она вошла. Не поднял, когда она села. Не поднял, когда она стала есть.

Но когда Кира доела и отставила пустую миску, Йорн — впервые за неделю, впервые за всё, что она о нём помнила из этой чужой памяти, — поднял глаза.

Посмотрел на неё.

Долго.

И произнёс одно слово:

— Хорошо.

Потом опустил глаза и снова стал точить нож.

Кира сидела за столом, чувствуя тепло от каши в желудке, и понимала: она вернулась домой.

В хижину из глины и палок. С курами. С поросёнком. С матерью, которая её обняла. С отцом, который сказал «хорошо».

И это — впервые за неделю, впервые за всю её новую жизнь — не было катастрофой.

Это было — жизнь.

Её жизнь. Настоящая, невыносимая, но её собственная.

За стеной хрюкнул поросёнок.

Кира — впервые за очень долгое время — улыбнулась.

## Глава 4. Каша и смирение

Кира проснулась от голода.

Не от того голода, который она знала в прошлой жизни — от лёгкого сосания под ложечкой, которое означало «пора завтракать» и решалось капучино с миндальным молоком. И даже не от того голода, который она узнала за последнюю неделю — от пустого желудка, который ныл, но с которым можно было договориться, обещая ему еду попозже.

Это был другой голод.

Он был не в желудке. Он был в костях. В зубах. За глазами. В самой сердцевине тела — глубокая, тяжёлая, гудящая пустота, которая говорила: если ты сейчас не поешь, ты умрёшь. Не завтра. Не через неделю. Скоро.

Кира лежала на своей доске с соломенным матрасом, смотрела в дырявый потолок, через который просачивался серый утренний свет, и думала об одном.

О еде.

О любой еде.

О серой каше. О чёрном хлебе. О репе. О луке. О сушёном мясе, которое было в котелке у Ролана. О сыре — тонком, солёном ломтике. О куске хлеба, обмакнутом в жир. О куриной ножке — жареной, с корочкой, с солью. О жареной картошке. О борще. О пельменях. О шаурме с уличного лотка в три часа ночи, которую она ела один раз в жизни, пья-

ная, после клуба, и которая казалась ей тогда самой вкусной едой на свете.

Она думала о еде так, как раньше думала о мужчинах. С томлением. С жадностью. С полной, безоговорочной концентрацией.

Так вот что такое голод, — подумала Кира. Настоящий голод. Не «я не ела пять часов и меня раздражает». Настоящий. Тот, ради которого люди воруют. Тот, ради которого убивают. Тот, ради которого продают детей и себя.

В прошлой жизни я не знала этого. Я думала, что знаю. Я говорила: «Умираю с голоду», когда обед задерживался на двадцать минут. Я была идиоткой. Все мы были идиотами.

Она села на кровати.

Голова закружилась. Перед глазами поплыли чёрные точки. Она ухватила за край доски и подождала, пока пройдёт.

Три дня дороги на полкраюхе хлеба, — подумала она. Плюс два дня без еды до этого. Плюс сегодняшняя тарелка каши, которая не заполнила даже дырки, а сначала — недели «уход за собой» и минимальной пищи. Моё тело — это тело подростка, у которого нет запасов. Ни жира. Ни мышц. Ничего.

Я умру, если не начну есть. Реально умру.

Она встала. Медленно. Придерживаясь за стену.

В хижине никого не было.

Стол чист. Печь потушена. Куры выпущены во двор. Поросёнок... поросёнок спал в своём углу, но был большим,

розовым, довольным. Поросёнок ел лучше, чем Кира. Поро-  
сёнок, судя по всему, ел лучше, чем вся семья, потому что  
поросёнок был инвестицией — его вырастят и продадут, а  
деньги пойдут на что-то важное.

Кира вышла во двор.

Солнце было уже высоко. Утро прошло. Она проспала до  
полудня — тело, изнурённое дорогой, требовало отдыха, и  
организм взял его силой.

Марта была в поле — Кира видела её в отдалении, скло-  
нённую над грядкой. Йорн — тоже где-то в поле, дальше.  
Петька гнал коз к лесу — маленькая фигурка с длинной пал-  
кой. Анка сидела на пороге соседней хижины и что-то делала  
руками — теребила шерсть, кажется. Мика не было видно.

Кира постояла во дворе, щурясь на солнце.

Что мне делать?

Вопрос был не риторический. Это был реальный, практи-  
ческий вопрос. Что ей — Кире Волковой, быути-блогеру из  
Москвы, теперь Кирке из деревни Вальден, — делать прямо  
сейчас, в этот полдень, в этом чужом мире?

Ответ был простой.

Работать.

Потому что не работаешь — не ешь.

Она это знала. Марта сказала это ей десять дней назад, и  
это правило не изменилось. Кира ушла — правило работало  
без неё. Кира вернулась — правило снова начнёт работать  
для неё. Вчерашняя тарелка каши была подарком, жестом

матери, но одноразовым. Сегодняшнюю кашу она должна заработать.

Ладно, — подумала Кира. Ладно. Я — Кира Волкова. Я справлюсь.

Она посмотрела на грядки за хижинкой.

Грядки. Земля. Растения. Она не знала, что там растёт. Она не знала, что с этим делать. Она не знала, с какого конца брать мотыгу — где-то она видела, что мотыгой полют, но полют — как? В каком направлении? Что именно вырывать, а что оставлять? Как отличить сорняк от полезного растения, если ты никогда в жизни не видела ни того, ни другого?

Она подошла к грядке.

Присела на корточки.

Земля была тёмная, влажная от вчерашнего дождя. Из неё торчали зелёные стебли — какие-то с широкими листьями, какие-то с узкими, какие-то с цветочками, какие-то — просто травинки. Всё вперемешку. Всё зелёное. Всё, для неё, — одинаковое.

Кира выдернула первый попавшийся стебель.

Он вышел с длинным белым корнем. На конце корня — маленькая круглая штука. Кира присмотрелась. Это была маленькая репа. Или маленькая редька. Или маленькая свёкла. Или маленькая ещё-что-то. Она не знала. Но это было — что-то съедобное. Не сорняк.

Я только что выдернула еду, — подумала Кира. Из своей же грядки. Свою же еду.

Она положила репу-редьку-свёклу обратно и присыпала землёй.

Дальше действовать наугад было опасно.

Она села на землю, обхватила колени руками и заплакала. Тихо. Устало. Без надрыва — просто потому, что слёзы сами текли, а сил остановить их не было.

Я не знаю, как жить, — думала она. Я умею одеваться на светские мероприятия. Я умею говорить перед камерой. Я умею продавать. Я умею манипулировать. Я умею смотреть в объектив под углом, при котором нос кажется меньше. Я умею всё то, что не нужно нигде, кроме моего прошлого мира. А здесь я не умею НИЧЕГО.

Я даже репу от свёклы отличить не могу.

Тень упала на неё.

Кира подняла голову.

Над ней стоял парень.

Она видела его раньше. Мельком. Во дворе, в поле, у колодца. Он был из соседней хижины — сын кого-то из соседей. Ровесник, чуть старше — может, семнадцать, может, восемнадцать. Высокий, худой, но жилистый — не тощий как Йохан у Ролана, а именно жилистый, с плечами, на которых была видна работа. Тёмно-русые волосы, коротко подстриженные — обломанные, скорее, ножом. Загорелое лицо. Светло-серые глаза — обычные, ничем не примечательные, кроме того, что смотрели прямо, без хитринки, без оценки.

Он стоял и смотрел на неё.

Кира вытерла глаза рукавом.

— Что? — сказала она.

— Ты плачешь, — сказал он.

Не с сочувствием. Не с интересом. Просто — констатация факта, как «идёт дождь» или «коза сожрала забор».

— Наблюдательный, — сказала Кира.

Он не среагировал на сарказм. Может, не понял. Может, понял и решил, что не стоит внимания.

Он посмотрел на грядку. На выдернутый стебель.

— Ты полешь? — спросил он.

— Пытаюсь.

— Ты выдернула репу.

— Я знаю.

Пауза.

— Зачем? — спросил он.

Кира посмотрела на него.

— Не для того, чтобы её выдернуть, — сказала она. — Случайно.

Парень подумал. Потом сел рядом с ней на корточки — легко, без усилия, как будто сидеть на корточках было для него так же естественно, как для Киры сидеть на стуле. Возможно, так и было.

Он показал пальцем на один из стеблей.

— Это репа, — сказал он.

Потом на другой.

— Это сорняк. Вот, видишь? У сорняка лист узкий, зуб-



чатый. У репы лист широкий, гладкий. Сорняк выдирай. Репу оставляй.

Он показал ещё несколько.

— Это лук. Оставляй. Это лебеда. Выдирай. Это тоже лебеда, только помладше. Выдирай. Это морковь, но она слабая, оставляй, потом окучишь. Это опять сорняк. Выдирай.

Кира смотрела и слушала.

Он говорил медленно. Ровно. Как будто учил ребёнка, но без снисходительности — как будто было совершенно нормально, что взрослый человек не знает, где репа, а где лебеда.

— Как тебя зовут? — спросила она.

— Томаш.

— Томаш.

— Да.

— Спасибо, Томаш.

Он пожал плечами.

— Пойду, — сказал он. — Мать зовёт.

Мать его никуда не звала — Кира не слышала никаких голосов. Но Томаш встал и пошёл. Не оглядываясь.

Кира посмотрела ему вслед.

Станный, — подумала она. Пришёл, показал, ушёл. Ничего не попросил. Ничего не сказал больше. Не поглазел на грудь. Не сделал двусмысленную шутку. Не спросил, откуда я взялась и почему плачу.

Станный.

Она снова присела к грядке.

Взяла в руки первый стебель. Посмотрела на лист. Широкий, гладкий. Репа. Оставила.

Взяла следующий. Узкий, зубчатый. Сорняк. Выдернула.

Ещё один. Сорняк. Ещё. Сорняк. Ещё. Лук — оставила. Ещё. Сорняк. Ещё. Лебеда. Ещё.

Она полола три часа.

К концу третьего часа спина не болела — болела вся. Руки были в мозолях и в грязи. Ногти — чёрные. Пот стекал по лбу и заливал глаза. Голова кружилась от голода. Но грядка была очищена.

Кира встала. Пошатнулась. Подождала, пока пройдёт головокружение.

Посмотрела на грядку.

Ровные ряды. Репа, лук, морковь — теперь она их различала. Сорняки — все выдраны, брошены в кучу в стороне. Земля — вспушенная её ковыряниями.

Я это сделала, — подумала Кира. Своими руками. За три часа. Из ничего — во что-то. Мне не заплатят за это премию. Мне не поставят лайк. Никто не увидит. Но я это сделала.

Странное чувство — гордость за прополку — заползло куда-то в грудь. Ненадолго. Но заползло.

Она пошла к следующей грядке.

К вечеру она обработала ещё две. Медленнее — силы кончались, — но обработала. К закату она валилась с ног. Ладони жгло. Спина не разгибалась. Голова была лёгкой и пустой

одновременно.

Марта вернулась с поля.

Молча посмотрела на грядки.

Молча посмотрела на Киру — грязную, потную, шатающуюся.

Молча пошла в хижину.

Через полчаса позвала ужинать.

На столе была каша. Как всегда. Но в этот раз — в каше было немного лука и что-то ещё, кажется, кусочек репы. Роскошь. Настоящая роскошь.

Марта поставила перед Кирой полную миску.

Полную. Не половину. Не «остатки после детей». Полную.

Кира посмотрела на миску. На мать.

— Работала, — сказала Марта. Это было объяснение и утверждение одновременно.

Кира ела.

Ела медленно. Стараясь не проглотить всё в один момент. Каждая ложка — как открытие. Каша была тёплой. Соль была солёной. Лук был острым. Всё было — вкусным.

В прошлой жизни, — подумала она, — я ела блюда, за которые люди платили тысячи. Я ходила в рестораны, где меню было на пяти языках, а официант рассказывал происхождение каждого ингредиента. И я ела эти блюда — и не помнила их. Я ела и листала телефон. Я ела и разговаривала. Я ела и не чувствовала вкуса.

Сейчас я ем серую кашу с луком. И я чувствую каждую

крупинку. Я чувствую тепло. Я чувствую соль. Я чувствую, как еда идёт по горлу и падает в желудок. Я чувствую всё.

Голод — лучший соус. Кто-то это сказал. Кто-то умный. Может, я это где-то видела в сторис. Может, это народная мудрость. Не важно. Это правда.

Она доела. Отставила миску.

— Ещё? — сказала Марта.

Кира посмотрела на неё.

— Есть ещё?

— Немного.

Кира хотела сказать «да». Каждая клетка её тела кричала «да». Голод не ушёл — он только притих.

Но она посмотрела на Мика — маленького, круглого Мика, который сидел за столом и разглядывал свою пустую миску с выражением тихого сожаления. Мика, который ел за двоих и всё равно был голодным. Мика, которому пять лет и которому нужны калории, чтобы расти.

— Нет, — сказала Кира. — Отдай Мику.

Марта посмотрела на неё долгим взглядом.

Потом молча вычерпала остатки каши в миску Мика.

Мик пискнул от радости.

Марта посмотрела на Киру ещё раз. В глазах — что-то, чего Кира раньше не видела. Не гордость. Не любовь. Что-то тише. Что-то — как признание. Как будто мать увидела в ней впервые — не сглаженную дочку, не капризную девку, а человека. Который понял.

Я понимаю, мама, — подумала Кира. Я поняла. Не всё, но многое.

Я поняла, что каша — это работа. Что работа — это выживание. Что выживание — это единственная религия здесь, потому что всё остальное — сглазы, бесы, святые, дороги — работает через раз, а голод работает всегда.

Я поняла, что мой план был идиотским. Что рыцарь на коне — это не спасение. Что даже если бы Ролан был богатым, я бы не была счастлива в его замке. Потому что счастье — это не замок. Счастье — это когда ты знаешь, что завтра будет каша. Тёплая. И что ты её заработала.

Я поняла, что я больше не Кира Волкова. Я больше никогда не буду Кирой Волковой. Я не вернусь. Никто меня не спасёт. Я — Кирка. И либо я научусь быть Киркой, либо я сдохну в этой хижине от голода и жалости к себе.

Я выбираю первое.

Она встала из-за стола.

Ноги подкосились. Она уцепилась за край.

— Я лягу, — сказала она.

— Ложись, — сказала Марта.

Кира дошла до своей доски. Легла.

Тело гудело. Ладони жгло. Спина ныла. Всё в ней болело.

Но в желудке было тепло.

И это было хорошо.

Прошло семь дней.

Кира работала.

Она полола грядки. Она носила воду из колодца — сначала по одному ведру, потом по два, потом по два с коромыслом на плечах, как это делали все местные женщины. Она мыла посуду. Она чистила курятник — работа, от которой её тошнило первые три раза, а потом она перестала замечать. Она собирала хворост в лесу вместе с Петькой. Она училась доить козу правильно — так, чтобы коза не лягала и молоко не проливалось.

Она вставала до рассвета и ложилась после заката. Она ела трижды в день — по полной миске. Иногда с луком, иногда с горстью репы, один раз — с кусочком варёной курицы (одна из старых кур перестала нестись, и её сварили; Кира съела свою порцию, не задумываясь о том, что за неделю до этого она гладила эту курицу по спине и называла её «Клеопатрой»).

Она перестала думать о прошлой жизни.

Не потому что забыла. Забыть было невозможно. Прошлая жизнь стояла в углу сознания как призрак — иногда всплывала в мелочах: запах, звук, мысль. Но она перестала быть чем-то, чего хотелось. Прошлая жизнь стала прошлой. Как школа. Как первый парень. Как что-то, что было, но которое уже не имеет отношения к тому, что есть.

Она перестала мыться по утрам.

То есть — она мылась. Каждое утро. Ведром воды, наспех. Но она больше не тратила часы на это. Не было времени. Не было сил. Не было смысла — потому что через час после

мытья она снова была грязной, в поту и в земле, и через два часа — снова, и через три — снова. Мытьё стало функциональным: раз в день, быстро, чтобы не завонять.

Волосы она заплетала в косу и убирала под платок. Не для красоты — просто чтобы не мешали.

Она похудела. Ещё сильнее, чем была. Но не как модель — а как рабочий инструмент, с которого стёрлось всё лишнее. Плечи стали шире. Руки — жилистее. Икры — крепче. Мозоли на ладонях затвердели и уже не кровоточили.

Она стала другой.

Не Кирой Волковой. Не Киркой. Кем-то посередине. Кем-то, кого она сама ещё не знала как называть.

На восьмой день, вечером, к их хижине пришёл Томаш.

Он принёс поленья. Три штуки. Аккуратно сложил у порога. Как в тот вечер, когда Кира уехала с Роланом.

Кира сидела на пороге, чистила лук. Она подняла голову. — Привет, — сказала она.

— Привет, — сказал Томаш.

Он посмотрел на её руки. На нож. На лук.

— Ты чистишь неправильно, — сказал он.

— Как — неправильно?

— Ты режешь корни. Потом на грядке из этого лука ничего не вырастет.

— А что мне с ним делать? В чашу его сажать?

Томаш посмотрел на неё. Уголок его рта дрогнул — очень слабо, почти незаметно.

— Ты его ешь, — сказал он.

— Да.

— Тогда режь как хочешь.

Пауза.

Кира ждала, что он уйдёт. Он всегда уходил — принёс дрова, показал репу, что-то сказал, и ушёл.

Но он не ушёл.

Он стоял у порога, смотрел на её работу. Не так, как смотрели на неё мужчины в прошлой жизни — не оценивая, не раздевая взглядом, не примеряя. Просто смотрел. Как смотрят на дерево или на реку. С каким-то тихим, спокойным вниманием.

— Ты изменилась, — сказал он наконец.

— С каких пор?

— С того дня.

С того дня. Кира знала, о каком дне он говорит. О дне, когда она уехала на коне с рыцарем.

— Ты видел, — сказала она.

Это был не вопрос.

— Видел.

— И ничего не сказал.

— Кому?

— Не знаю. Матери. Отцу. Кому угодно.

Томаш пожал плечами.

— Не моё дело.

— Но ты видел, — повторила Кира.



Он посмотрел ей в глаза.

— Я видел, — сказал он. — И я думал: если она уехала

— значит, она хотела уехать. А если она захочет вернуться

— значит, она вернётся.

— А если бы не вернулась?

— Тогда бы не вернулась.

Простота его логики была ошеломляющей. В прошлой жизни каждое действие оборачивалось десятками мнений: подписчики, подруги, семья, коллеги, все имели мнение обо всём и высказывали его — громко, публично, в комментариях, в личных сообщениях, в сторис-ответах. Здесь этот парень стоял и говорил: «Не моё дело». И это не было равнодушием. Это было — уважением. Каким-то первобытным уважением к чужому выбору.

— Спасибо за дрова, — сказала Кира. — Тогда, в тот вечер. Я не поблагодарила.

— Не за что.

— Есть за что. Ты их приносил и раньше. Я только сейчас поняла.

Томаш кивнул.

— Приносил, — сказал он. — И буду.

— Почему?

Он посмотрел на неё. Не сразу ответил.

— Твой отец в поле с рассвета до заката, — сказал он.

— Мать тоже. Дети маленькие. Дров рубить некому. У нас с отцом полно — рубим на два дома. Не тяжело.

Логично, — подумала Кира. И — не только логично.

Она смотрела на него и вдруг увидела кое-что, чего раньше не видела.

Не то что он симпатичный. Он не был симпатичный. Ну, лицо у него было приятное, но не «симпатичный» в том смысле, в котором она понимала это в прошлой жизни. Просто — лицо. Обычное. Загорелое. С прямым носом, с ровными бровями, с одной морщинкой на переносице от постоянного прищура.

Она увидела — что от него хорошо пахнет.

Не одеколоном. Не парфюмом. Просто — от него хорошо пахло. Древесной стружкой, свежим потом (не тем застойным потом, которым пахли все местные, а тем, который бывает после тяжёлой работы у чистых людей), какой-то травой, которую он, видимо, жевал, — мятой или чем-то похожим.

От него не воняло.

В этом мире, — подумала Кира, — это уже статус. Это уже — компетентное преимущество.

— Томаш, — сказала она.

— Да?

— Ты моешься?

Он моргнул.

— Что?

— Ты моешься? В смысле — купаешься. Часто.

Он посмотрел на неё как на сумасшедшую. Или почти —

не так, как смотрели на неё все остальные, когда она заводи-  
ла разговоры про мытьё. По-другому.

— Каждый вечер, — сказал он. — В ручье. Летом. Зимой  
— реже, но моюсь.

— Каждый вечер?

— Каждый.

— Зачем?

Он подумал.

— Спать приятнее, — сказал он. — Когда чистый. Матери  
не нравится, когда я сплю грязный. Она говорит — простыни  
портятся.

У них есть простыни, — подумала Кира. У них есть про-  
стыни, и они за них переживают. Хижина у них такая же, как  
наша, а простыни есть.

Она посмотрела на Томаша с новым интересом.

— А зубы? — спросила она.

— Что — зубы?

— Ты их чистишь?

Пауза.

— Как их чистить?

— Ну... чем-нибудь. Тряпочкой. Веточкой.

Он подумал.

— Я жую мяту, — сказал он. — И полынь иногда. Чтобы  
во рту не воняло.

— А зубы у тебя целые?

— Целые. У всех у нас в семье целые. У отца тоже. Он

говорит — сладкое не жрать, тогда зубы будут.

Отец говорит — сладкое не жрать, — повторила про себя Кира. — В этом мире, где сахара нет, где сладкое — это мёд раз в году и ягоды летом, у этого парня семья с целыми зубами, потому что «сладкое не жрать». Это гениально. Это просто — гениально.

Она смотрела на Томаша и медленно осознавала, что рядом с ней всю жизнь — то есть все её десять дней здесь — жил человек, который был отдельным явлением. Человек, который мылся каждый день. У которого целые зубы. Который жевал мяту. Который не спрашивал, куда она уезжала и почему вернулась. Который приносил дрова, потому что рубил на два дома.

Она смотрела на него и не понимала, почему смотрит.

— Что? — сказал Томаш.

— Ничего, — сказала Кира.

Он кивнул. Постоял ещё секунду. Потом наклонился, поправил одно из брошенных на порог поленьев — оно лежало криво, — и сказал:

— Пойду. Хорошего вечера.

— Хорошего вечера, — сказала Кира.

Он ушёл.

Она сидела с ножом и недочищенным луком в руках и смотрела ему вслед.

Он даже не оглянулся, — подумала она. Ни разу за весь разговор он не оглянулся ни на мою грудь, ни на мою талию,

ни на что. Он смотрел мне в глаза или на мои руки, когда я работала. И всё.

Странно. Или не странно. Может, я просто отвыкла от нормальных людей.

Она вернулась к луку.

Пахло вечером — дымом, землёй, чем-то жарящимся у соседей. Где-то мычала корова. Где-то плакал ребёнок. Где-то ругались — женщина ругалась на мужа, слова доносились глухо, без смысла.

Обычный вечер в обычной деревне.

Её деревне.

Ещё через несколько дней Кира впервые увидела Ролана.

Не его самого — его тень.

Она стояла у колодца, вытаскивала ведро, и мимо проехал всадник. Не Ролан. Но — на коне. В плаще. С мечом.

Кира посмотрела на всадника.

Она ждала — чего? Волнения? Тоски? Вздоха: «Ах, если бы это был мой рыцарь, и он забрал бы меня отсюда»?

Ничего.

Никакого волнения. Никакой тоски. Никакого «ах».

Всадник проехал. Кира вытащила ведро. Понесла воду домой.

По дороге она подумала: «А ведь Ролан, наверное, до сих пор в своей башне. Ест сушёное мясо. Латает сапоги тряпками. Пытается вернуть земли».

И ещё она подумала: «Надеюсь, у него всё получится».

Это было — искренне.

Не «надеюсь, он придет за мной». А — «надеюсь, у него всё будет хорошо». Без себя. Без своего интереса. Просто — по-человечески.

Кира донесла ведро. Поставила у порога. Разогнула спину.

И поняла — впервые за всё время в этом мире, — что улыбается.

Не потому что что-то произошло.

А просто — так.

Потому что вечер. Потому что вода принесена. Потому что каша будет. Потому что она — жива.

Она стояла у порога хижины из глины и палок и улыбалась серому небу над крестьянской деревней в мире, куда её забросило безжалостной шуткой мироздания.

И это было — впервые за очень долгое время — просто.

Просто хорошо.

## Глава 5. Вкалывание

Прошёл месяц.

Кира отсчитывала дни зарубками на балке, которая держала крышу над её доской-кроватью. Каждое утро, вставая, она проводила ногтем черту по мягкому дереву. Двадцать восемь зарубок. Двадцать девять. Тридцать. Тридцать один.

Тридцать один день с тех пор, как она вернулась.

Тридцать один день работы, каши, работы, каши, работы, сна, работы.

Она стала другой.

Не только внутри — она уже писала это в своей голове и раньше, — а по-настоящему, физически другой. Изменилось тело. Она увидела это однажды утром, когда мылась за домом и случайно поймала своё отражение в ведре.

Она не узнала себя.

Не в том смысле, что стала уродливой, — а в том смысле, что стала другой. Кожа — загорела до тёмно-золотистого; веснушки, которых не было и в помине в прошлой жизни, высыпали на носу и на скулах. Лицо — похудело, но не осунулось: под тонкой кожей проступили чёткие скулы, ямочки под ними, острый подбородок. Волосы — от постоянного солнца выгорели на концах, стали светлее, приобрели тот пепельно-русый оттенок, за который в прошлой жизни она платила в салоне двадцать тысяч.

Руки — вот руки были самой большой переменной.

Они больше не выглядели как руки девочки. Они выглядели как руки человека, который работает. Крепкие. С выступающими венами на тыльной стороне ладони — не от ху-добы, а от того, что руки постоянно что-то делали, что-то держали, что-то поднимали. Ногти — короткие, ровные (Кира научилась подпиливать их о шершавый камень у колодца, потому что грязь под длинными ногтями сводила её с ума). Кожа на ладонях — задубелая, но не потресканная: Кира натирала руки топлёным жиром на ночь и оборачивала тряп-ками; это работало.

Плечи — стали шире. Ключицы — уже не торчали, пото-му что вокруг них выросли мышцы. Спина — распрямилась: постоянное таскание вёдер приучило держать корпус ровно.

Она стала... не красивее и не хуже. Она стала — другой формой существа. Той, которая работает, а не позирует. Ко-торая создана для действия, а не для картинки.

В прошлой жизни она бы плакала от такого превращения. Она бы кинулась к косметологу, к пластическому хирургу, к диетологу. Она бы отбеливала загар, размывала веснушки, увлажняла руки, делала маникюр. Она бы пыталась вернуть себе — то, чем была. Или то, чем казалась.

Сейчас она смотрела на своё отражение в ведре и думала: «Ну, вот. Ну, ладно. Так тоже сойдёт».

Это было — тревожно. И освобождающе одновременно. Меня больше не волнует, как я выгляжу, — думала она,



зачёсывая волосы пятернёй (гребёнку она сделала себе из деревяшки — Томаш научил, показал, как строгать зубцы). — Точнее, волнует, но по-другому. Раньше — чтобы понравиться. Сейчас — чтобы не мешать работе. Чтобы волосы не лезли в лицо. Чтобы юбка не путалась в ногах. Чтобы можно было делать своё дело.

Кто я теперь?

Не знаю.

И это, кажется, нормально.

Работа шла по кругу.

Утро: подоить козу (она научилась — коза всё ещё смотрела с презрением, но лягалась редко), выгнать кур во двор, задать корм поросёнку, натаскать воды на день, разжечь печь для Марты, накормить Мика (Мик сам себя кормил, но проследить надо, чтобы он не съел, например, воск), проводить Анку к соседской бабке, которая учила девочек прясть.

День: работа в поле, или в огороде, или в лесу — смотря что нужно. Пропалывать, окучивать, собирать, полоть, полоть, полоть. Носить, таскать, поднимать. Обед — чаще всего кусок хлеба и головка лука прямо в поле, если Марта передавала через Петьку. Возвращение домой — пешком, с ноющей спиной, с горящими руками.

Вечер: снова подоить козу, снова покормить поросёнка, снова кур загнать, снова принести воды, приготовить ужин с Мартой (Кира училась готовить — плохо, коряво, с постоянными подгорелостями, но училась), поесть, помыться, лечь.

Между этим — жизнь. Разговоры с Анкой, которая ходила за Кирой хвостом и задавала бесконечные вопросы. Игра в «камешки» с Петькой, если оставались силы. Молчание с Йорном за столом — он всё ещё говорил три слова в день, но теперь его молчание не давило: оно стало привычным, даже уютным.

И — Томаш.

Томаш был везде и нигде. Он приносил дрова — два раза в неделю, аккуратно складывая у порога. Он проходил мимо, когда Кира работала во дворе, — иногда кивал, иногда молча ронял какую-нибудь фразу («не так держишь мотыгу», «попынь поспела за огородом, собери»), иногда просто проходил. Он не задерживался. Не искал повода поговорить. Не пытался «быть рядом».

Но он был.

Кира это чувствовала. Как фон. Как ровный, спокойный фон, на котором происходило всё остальное. Она не думала о нём — не в романтическом смысле. Она даже не думала о нём как о человеке в отдельности. Он был — просто частью пейзажа. Как дерево у колодца, которое она видела каждый день. Как облако, которое всегда висит над лесом на западе. Как звук ветра в жердях крыши.

Но однажды вечером она поймала себя на том, что смотрит в сторону его хижины, когда он не появляется два дня подряд. И на третий, когда он пришёл с дровами, она почему-то улыбнулась.

Это была короткая улыбка. Она даже не поняла, что улыбается, пока Томаш не спросил:

— Смешное что-то?

— Нет, — сказала Кира. — Просто рада.

— Чему?

— Что ты пришёл.

Он моргнул.

Потом сказал, обычным своим ровным голосом:

— Дрова кончились у вас.

И ушёл.

Кира стояла с горстью гороха в руках — она лущила его на пороге — и думала: «Я, кажется, только что создалась ему в чём-то. А он ушёл, потому что «дрова кончились». Кто из нас двоих больший идиот?»

Она не могла определить.

На тридцать пятый день произошло то, что Кира потом называла своей первой настоящей идеей.

Она собирала яйца в курятнике.

Курятник — это было громко сказано. Скорее, угол во дворе, огороженный жердями и накрытый навесом из соломы. Куры ночевали там, там же неслись — куда попало, на землю, на солому, иногда — из вредности, как считала Марта, — в свои же кормушки. Каждое утро Кира ползала по этому углу, подбирала яйца.

Их было мало.

Марта считала. Записывать она не умела — вела счёт за-

рубками на палочке, — но помнила всё. Пять яиц в день. Иногда шесть. У них было девять кур. Из девяти кур неслись — от силы шесть. Остальные три были или слишком старые, или ленивые, или обиженные жизнью — Марта их называла «Царицами», потому что они «жрут наравне, а несут через раз».

— Скоро под нож пойдут, — говорила Марта, глядя на этих трёх Цариц. — Всю осень их кормили, а толку — как от козла молока. Зарежем и сварим.

Кира смотрела на кур и думала.

Пять яиц в день. Иногда шесть. С девяти кур. Это мало? Много? Нормально?

Она не знала.

Но она вспомнила.

Не что-то конкретное — просто обрывок. Мельчайший клочок, застрявший в памяти каким-то чудом. Она листала Инстаграм — год назад? два? — и наткнулась на ролик. Какая-то деваха с косой и в клетчатой рубашке стояла на фоне свободно гуляющих кур и рассказывала: «Ребята, если хотите, чтоб куры неслись каждый день, помните ТРИ вещи. Первое — им нужно место. Куры не любят тесноту. Второе — им нужен свет. Куры не несутся в темноте. Третье — им нужны зольные ванны. Куры сами купаются в золе — это защита от паразитов, куры чувствуют себя лучше и несут больше. А ещё...»

Кира тогда листала дальше, потому что куры её не инте-

ресовали.

Но фраза застряла.

Место. Свет. Зольная ванна.

Кира стояла в курятнике-углу и смотрела на своих кур.

Место: у них было тесно. Девять кур в углу два на два метра, ночью — все на одном насесте, толкаются, клюются.

Свет: навес из соломы такой плотный, что даже днём в курятнике было полутемно. Кира заходила туда и первые секунды не видела ничего.

Зольная ванна: не было. Кира вообще не знала, что это такое, — она помнила только сами слова.

Так, — подумала Кира. Так. Идея.

Она сначала подумала. Потом ещё подумала. Потом ещё раз.

Потому что это была первая её собственная идея за месяц. И она не хотела её испортить, ринувшись в дело неподготовленной.

Она обдумала.

Проблема номер один: место. Решение — расширить курятник. Как расширить? Ну, вырубить ещё жердей в лесу, вбить в землю, натянуть плетень. Это работа Йорна или Томаша — сама она такие жерди не поднимет, но она может нарубить лозы для плетения. И собрать солому для нового навеса.

Проблема номер два: свет. Решение — сделать навес пореже. Или сделать дыру в старом. Или переместить курятник

в место, где меньше тени.

Проблема номер три: зольная ванна. Решение — насыпать кучу золы (её у них навалом, печь каждый день). Куда насыпать? Ну, в угол курятника. Или в отдельный ящик — если Йорн сколотит ящик.

Всё это стоило — ноль монет. Ноль. Все материалы были или бесплатные, или уже у них были.

Так, — снова подумала Кира. Мне нужно уговорить отца. Йорн был препятствием. Йорн не любил перемен. Йорн делал то, что делал его отец, а его отец делал то, что делал его отец, и в этой цепочке идеи «расширить курятник, потому что видео в Инстаграме сказало» не было предусмотрено.

Кира решила подойти с другого конца. С кур.

Вечером, за столом, она сказала:

— Мам.

— Что.

— А если куры будут нести не пять, а восемь?

Марта посмотрела на неё.

— Так они не нести.

— А если будут?

— Не будут.

— А если я знаю, как сделать, чтобы несли?

Марта отложила ложку. Йорн — не поднял головы, но, Кира это чувствовала, — стал слушать.

— Ты, — медленно сказала Марта, — знаешь, как сделать, чтобы курица несла больше?

— Я думаю, что знаю.

— Откуда?

Кира заранее продумала ответ.

— Слышала. Один раз. От человека, который... у которого много кур. Он рассказывал. Я тогда не поняла, зачем это знать. Сейчас — вспомнила.

Марта прищурилась. Она не поверила. Кира это видела. Но и не возразила.

— И что ты хочешь делать?

— Расширить курятник. Сделать светлее. И насыпать золы для купания.

— Для... чего?

— Куры любят купаться в золе. Это их защита от блох.

— Курица не купается в золе.

— Курица купается в золе. Просто ей надо где.

Марта посмотрела на Йорна. Йорн наконец поднял голову. Он посмотрел на Киру. Долго. Внимательно.

— Курица, — сказал он наконец, — купается.

— Что?

— В пыли, — сказал Йорн. — В сухой земле. Я видел. Она в пыль ложится, барахтается. Я думал — сходит с ума. Может, в золе то же.

Марта посмотрела на мужа.

— Ты знал, что курица купается? Тридцать лет знал и молчал?

— А что говорить, — сказал Йорн. — Курица и курица.

Купается — купается.

Кира еле сдерживала улыбку.

Отец, — думала она, — ты бесценен. Ты — тот человек, который знает половину секретов Вселенной, но никому о них не говорит, потому что «а что говорить».

— Значит, — сказала Кира, — если насыпать золы, они будут купаться?

— Могут, — сказал Йорн. — Могут и не будут. Кто их поймёт, куриц.

— А расширить курятник?

Йорн подумал.

— Жерди есть в сарае, — сказал он. — С прошлого года лежат. Плетень я поставлю. За два дня.

— А если...

— Не про свет, — сказал Йорн. — Про свет — не надо. Свет — тепло уходит зимой. Зимой холодно — куры мёрзнут — не несут. Свет — плохо.

Кира подумала.

Логично. В её видео из Инстаграма клетчатая девушка стояла где-то в Калифорнии, где всегда двадцать пять градусов. Здесь — не Калифорния. Здесь зимой снег и куры мёрзнут.

— Ладно, — сказала Кира. — Без света. Расширить и зола. Хорошо.

— Хорошо, — сказал Йорн.

Он опустил голову и снова стал есть.



Разговор был окончен.

Через три дня новый курятник был готов.

Йорн поставил плетень — как обещал, за два дня. Территория курятника выросла в два раза. Куры первый день ходили ошалелые, не понимая, куда деться, толкались в старом углу по привычке. К третьему дню начали расходиться.

Кира насыпала в углу большую кучу золы. Смешала с сухой землёй — где-то в голове мелькнуло, что «чистая» зола может обжечь; лучше пополам. Насыпала.

Первый день куры не подходили. Смотрели на кучу с подозрением.

Второй день — одна курица, самая маленькая и, кажется, самая глупая, подошла, потыкала клювом. Потом села. Потом стала копать.

Через десять минут она барахталась в золе, как одержимая, вертелась на спине, поднимала пыль столбом, лениво вквохтала — Кира могла поклясться, — от удовольствия.

К концу второго дня все девять кур по очереди пришли купаться.

Третий день. Кира зашла в курятник утром — и обомлела.

Восемь яиц.

Не пять. Не шесть. Восемь.

Она посчитала три раза. Потом позвала Марту.

Марта посчитала сама.

— Восемь, — сказала Марта.

— Восемь, — сказала Кира.

Пауза.

— Может, случайно, — сказала Марта.

— Может, — согласилась Кира.

Но она знала — не случайно.

На следующий день — семь. Через день — восемь. Через день — девять.

Девять яиц с девяти кур. Даже «Царицы» — три ленивые старые курицы, которых уже собирались зарезать, — снесли по одному. Впервые за пол года.

Через неделю Марта сказала:

— Кирка.

— Что?

— Кур ты не режь пока. Пусть живут.

Марта не сказала «спасибо». Марта не сказала «ты была права». Марта не сказала «идея хорошая».

Марта сказала: «пусть живут».

И это, в её понимании, было — высшая похвала.

Кира сидела на пороге, лущила горох, смотрела на кур, которые копошились в своей золе, и чувствовала, как в груди поднимается что-то тёплое.

Гордость.

Настоящая, кровная, заработанная гордость — не за фото, не за подписку, не за лайк, а за то, что она сделала своими руками. Точнее — своей головой. Она вспомнила одну случайную фразу из своей прошлой жизни, применила её к своей нынешней жизни, и — сработало.

Так вот что чувствуют учёные, — думала она. Так вот что чувствуют инженеры. Люди, которые делают. Которые создают. Которые видят — и оно работает.

Я никогда этого не чувствовала. Я жила двадцать пять лет и ни разу не сделала ничего, что бы работало.

А курятник — работает.

Мелочь. Смешная, крошечная мелочь. Куры и зола.

Но это была её мелочь. И она — работала.

Марта пошла на рынок в конце недели.

Раньше она носила по три десятка яиц — то, что накапливалось за неделю. Теперь у неё было пять десятков плюс ещё немного.

Продала всё.

Вернулась с монетами. Больше, чем обычно. Плюс — принесла соль (кончилась две недели назад, ели пресное) и — Кира обомлела — маленький кулёк изюма.

Изюм.

Кира не видела изюма месяц. Полтора. Она смотрела на этот кулёк — коричневые сморщенные ягоды — как на бриллианты.

— Мик, — сказала Марта. — Иди сюда.

Мик прибежал. Марта дала ему изюминку. Одну. Мик уполз в угол и жевал её десять минут, растягивая удовольствие.

Марта дала по одной Анке и Петьке. Дала Йорну. Дала себе. Дала Кире.

Кира держала изюминку в пальцах.

Одна маленькая, чёрная, сморщенная ягода.

Она положила её на язык.

Господи, — подумала она. Господи, это же... это же вкусно.

Не «прикольно». Не «сладенько». Вкусно. Вкусно, как ничто на свете. Сладкое — настоящее сладкое, — она не ела уже месяц. Она забыла, что такое сахар. Она забыла, что такое вкус чего-то, что не было солёным, кислым или пресным.

Изюминка развалилась во рту. Сладость залила язык. Кира закрыла глаза.

Один изюм, — подумала она, — и я — самый счастливый человек в этой хижине.

В прошлой жизни я ела торты за пять тысяч рублей и не помню ни одного. А одну сморщенную ягоду я запомню до конца жизни. Или до конца этой жизни. Смотри сколько мне тут ещё быть.

Она открыла глаза.

Марта смотрела на неё.

— Ты умеешь думать, Кирка, — сказала Марта тихо.

Кира не сразу поняла. Потом поняла.

Это была первая — настоящая, прямая — похвала матери.

Кира отвела взгляд, чтобы Марта не увидела, как у неё заблестели глаза.

— Спасибо, мама, — сказала она.

Марта хмыкнула. Стёрла с лица что-то, что могло быть намёком на нежность, и вернулась в режим обычной суровости.

— Умеешь думать — ещё чего придумай, — сказала она.  
— Изюм-то не каждую неделю будет.

— Придумаю, — сказала Кира.

И она уже знала — что.

Точнее — что-то знала. Что-то смутное, недооформленное. Идея крутилась в голове с того момента, как она увидела кулёк с изюмом. Потому что изюм был дорогой — не как икра, но дорогой. А ещё дороже был сыр, о котором говорили на рынке. А ещё дороже — мёд, который Марта покупала раз в год «на большие праздники».

И всё это — куры, козы, пчёлы, коровы — были в этой деревне у людей.

Просто никто их не использовал по-настоящему.

Куры сидели в тёмных углах. Козы паслись сами по себе. Пчёлы жили в дуплах в лесу, и никто их не разводил, только мёд собирали дикий. Молока — сколько выдоят, столько и есть. Скисло — вылили или свинье отдали.

Никто ничего не переделывал. Никто ничего не превращал в другое. Никто не видел — цепочки.

А цепочка была.

Молоко — плюс что-то — сыр.

Мёд — плюс воск — свечи.

Сыр — плюс соль — хранится долго.

Свечи — плюс дорога — деньги.

Это была не «бизнес-модель», как называла бы это Кира из прошлой жизни. Это была — самая простая, самая тупая цепочка, которую любой третьеклассник поймёт. Но здесь никто её не строил.

Потому что не знали.

Потому что не думали.

Потому что делали, как делали отцы, деды, прадеды.

А Кира — знала. Точнее — помнила обрывки. Из фильмов, из сериалов, из документалок, которые она никогда не досматривала, из уроков истории в школе, где она сидела на задней парте и красила ногти.

Я не знаю, как делать сыр, — думала Кира вечером, лёжа на своей доске. — Но я знаю, что его делают из молока. Я не знаю, как разводить пчёл. Но я знаю, что их разводят. Я не знаю, как это всё соединить в цепочку. Но я знаю, что цепочка есть.

Значит, надо пробовать. Ошибаться. Пробовать снова.

Как с курами.

Куры — это было бесплатно. Это была одна ночь размышлений и три дня работы. И — получилось.

Сыр — это тоже, наверное, бесплатно. Молоко у нас есть. Соль есть. Место есть. Осталось — понять как.

Я справлюсь.

Я — Кира Волкова. Я вспоминала обрывок про кур и сделала. Я вспомню обрывок про сыр и сделаю.

Или не сделаю с первого раза.

Тогда — со второго.

Или с седьмого.

Но сделаю.

Она перевернулась на бок.

За стеной хрюкнул поросёнок.

Она уже не морщилась от этого звука. Она уже его почти не замечала.

Тридцать один день, — подумала она. Тридцать один день — и я думаю о том, как расширить хозяйство. Не о том, как убежать. Не о том, как найти принца. О том, как СДЕЛАТЬ. Здесь. Сама.

Что-то во мне сломалось. Или наоборот — что-то во мне впервые заработало. Не могу понять.

Но мне это нравится.

Она закрыла глаза.

За окном стрекотали сверчки. Тёплая ночь. Конец лета. Скоро — осень, потом — зима, потом — ещё одна весна.

Кира впервые подумала о будущем.

Не как о чём-то страшном. Не как о чём-то, что нужно перетерпеть.

А как о времени, в котором она — что-то сделает.

Что именно — она пока не знала.

Но она — сделает.

И она уснула — впервые в этом мире — с планами на следующий день, а не с сожалениями о вчерашнем.

## Глава 6. Провалы и маленькие твари

Осень пришла в деревню Вальден внезапно, как приходит кредитор — без предупреждения, с претензиями и с явным намерением испортить настроение.

В одно утро Кира вышла из хижины, и мир изменился. Ещё вчера было тёплое, размытое, зеленовато-жёлтое лето с прозрачным небом и жужжащими шмелями. Сегодня — серое небо, стелящийся туман, роса на траве такая тяжёлая, что казалась инеем, и ветер, который лез под рубаху и напоминал, что рубаха — тонкая, а зима — впереди.

Кира стояла босиком на пороге и смотрела на этот новый мир.

Осень, — подумала она. — В прошлой жизни осень означала — куртка на распродаже, кофе с тыквенными специями, красивые фотки в парке с жёлтыми листьями. Здесь осень означает — надо шить тёплое, надо запастись дрова, надо солить всё, что можно солить, и молиться, чтобы зима была не суровой.

И я не знаю, как всё это делать.

Опять.

Марта вышла следом. Обхватила себя руками.

— Похолодало, — сказала она. — Раньше в этом году.



— Плохо?

— Плохо. Хлеба меньше собрали, чем в прошлом году. Дров надо больше. Овощей — успеть.

Она посмотрела на Киру.

— Работать будем много, — сказала Марта. — Больше, чем летом.

Кира кивнула.

Больше, чем летом, — подумала она. Больше, чем полтора месяца копания в грязи по двенадцать часов в день. Ну, ладно. Ладно. Я справлюсь.

Она поверила себе. Уже почти.

За полтора месяца Кира привыкла работать. Это было не то же самое, что «полюбила работать» — работу она по-прежнему не любила и, подозревала, не полюбит никогда. Но она привыкла. Её тело перестало ныть после каждого дня. Мышцы приспособились. Мозоли задубели. Спина держала.

Она стала — если так можно сказать про крестьянскую девочку из глиняной хижины — эффективной.

Она носила два ведра воды за один поход вместо одного. Она полола грядку за час там, где раньше уходило три. Она доила козу за пять минут — раньше уходило двадцать, коза лягалась, молоко проливалось. Она разжигала печь с первой попытки, а не с пятой.

Её мать заметила. Марта не хвалила — Марта редко хвалила, — но с некоторых пор перестала перепроверять за Кирой работу. Это была высшая форма доверия в этой семье:

Марта просто отпускала и не проверяла.

Йорн тоже заметил. Однажды, когда Кира несла коромысло с двумя вёдрами, он проходил мимо и — впервые за всё время — коротко кивнул. Не «привет». Не «молодец». Просто кивок. Но Кира долго думала об этом кивке. Он значил больше, чем сотня лайков в её прошлой жизни.

И — Томаш заметил.

Томаш заметил больше всех.

Он теперь появлялся чаще. Не намного — но чаще. Не только с дровами. Иногда — просто так. Проходил мимо, кивал, задерживался на минуту, говорил одну-две фразы, уходил. Иногда — приносил что-то. Пучок какой-то травы («мать сказала, для отвара, живот полечить»). Веточку с ягодами. Один раз — маленькую деревянную свистульку, которую он вырезал, кажется, из скуки, потому что отдал её Микку и объяснил: «Свистеть».

Мик свистел три дня подряд, пока Марта не отобрала свистульку и не спрятала.

Кира заметила, что Томаш приходит.

И заметила, что она — ждёт.

Не активно. Не жарко. Просто — фоном. Как ждёшь дождя, который освежит воздух. Не «когда же он придёт», а «а, вот он пришёл, хорошо».

Это тревожило её. Немного.

Я в теле пятнадцатилетней, — думала она. — А ему семнадцать или восемнадцать. Это, по этим меркам, нормаль-

но. По моим меркам — я тётка, которая заглядывается на школьника. Господи.

Но потом она смотрела на Томаша — как он колет дрова, как поправляет плетень, как разговаривает с её младшим братом на равных, — и переставала думать про мерки. Она вообще про мерки перестала думать. Возраст в этом мире считался иначе: не по годам, а по тому, что ты умеешь и что ты можешь. Мик был ребёнком. Анка — почти ребёнком, но уже пряла. Петька — почти взрослым, он гнал коз в лес один. Кира — женщиной, потому что работала как женщина. Томаш — мужчиной, потому что работал как мужчина.

Всё было просто.

Всё было — не так, как в прошлой жизни.

И Кира впервые начала подозревать, что «не так» — это не «плохо». Это может быть — просто «иначе». А иногда «иначе» — это «лучше».

Провалы начались с коз.

Козы стояли у Киры в голове давно. С тех пор как она увидела кулёк изюма и придумала свою «цепочку». Она пришла к выводу, что коровы им не осилить (корова — это огромные вложения, это сено на зиму, это — целое дело), а вот козы — доступны. Козы едят всё. Козы не требуют много места. Козы дают молоко. Из молока можно делать сыр.

Логика была железной.

Она изложила её Марте.

Марта выслушала. Долго молчала. Потом сказала:

— Одну козу мы держим и еле кормим. Ты хочешь ещё двух.

— Да.

— Кормить чем?

— В лесу. На лугу. Мы будем их пасти.

— Кто? Ты?

— И я. И Петька. И Анка иногда.

— А работать в поле кто?

— Мы всё успеем.

Марта посмотрела на неё скептически.

— Кирка. Мы едва успеваем сейчас. С одной козой. С девятью курами. С поросёнком. С огородом. С полем. Мы едва успеваем — сейчас. А ты хочешь ещё двух коз.

— Мам, из молока можно делать сыр.

— Какой сыр?

— Обычный. Который на рынке. Который дорогой.

— Кирка. Сыр варят монахи. В монастыре. Они этому учатся годами.

— Я тоже научусь.

— Из чего?

— Из молока.

— А как?

Кира открыла рот.

Закрыла.

Открыла снова.

— Я... не знаю точно, — призналась она. — Но я разбе-

русь.

Марта посмотрела на неё долгим взглядом.

— Кирка, — сказала она наконец. — Ты — умная. Я вижу. Ты — необычная. Я знаю. Ты вспомнила про кур и сделала — я тоже видела. Но сыр — это не куры. Это большое дело. Ты потратишь молоко. Ты не сделаешь сыр. Мы будем есть меньше, потому что молока не будет для каши. И козы будут — жрать. Много жрать. И если ты не сделаешь сыр — мы будем в убытке.

— А если сделаю?

Марта помолчала.

— Если сделаешь, — сказала она, — я тебе поверю. Во всём.

Пауза.

— Но я думаю, что не сделаешь.

— А я думаю, что сделаю.

Марта покачала головой. Потом посмотрела на Йорна — Йорн, как всегда, сидел в углу и что-то стругал.

— Йорн, — сказала Марта. — Ты слышал?

Йорн кивнул. Не поднимая глаз.

— Что скажешь?

Йорн долго молчал. Потом сказал:

— Пусть попробует.

— Йорн!

— Пусть.

— Йорн, две козы — это...

— Две козы, — сказал Йорн. — Пусть. Соседи продают дёшево. Осенью все продают дёшево — жрать нечем зимой. Купим. Она попробует. Не выйдет — зарежем к весне. Мясо будет.

Марта посмотрела на мужа. Открыла рот. Закрыла.

— Как хочешь, — сказала она. — Но потом не жалуйся, что ели пусто.

Йорн опустил голову и снова стал стругать.

Кира сидела с колотящимся сердцем.

Он мне верит, — подумала она. — Отец, который сказал за всё время своего существования, наверное, слов сто, — верит мне. Или считает, что попытка стоит двух коз. Или считает, что даже в худшем случае будет мясо.

В любом случае — он на моей стороне.

Она посмотрела на Йорна. Он не поднял головы. Но Кира готова была поклясться, что в углу его рта — под жёсткой серой бородой — было что-то, похожее на улыбку. Крошечное. Микроскопическое. Но было.

Коз они купили через три дня.

Продавала их вдова из соседней деревни — муж умер летом, детей четверо, кормить нечем, козы жрут. Она отдала двух за сущие копейки — четыре медные монеты. Йорн привёл их в деревню на верёвке. Обе — серые, тощие, с презрительными жёлтыми глазами (все козы, поняла Кира, презрительные — это не индивидуальность, это видовая черта).

Первую Кира назвала Ирой. По имени своей визажистки

из прошлой жизни, которая всегда смотрела на её лицо с точно таким же выражением: «Что ты сделала, что теперь надо это исправлять?»»

Вторую — Ольгой. По имени бывшего бренд-менеджера корейского бренда сывороток. Ольга-коза лягалась. Ольга-бренд-менеджер была не лучше.

Марта посмотрела на новых животных.

— Ты им имена дала?

— Да.

— Зачем?

— Так удобнее.

— Их зимой резать могут.

— Не будут резать.

Марта пожалала плечами. Пошла в дом.

Кира стояла посреди двора с двумя козами на верёвках и понимала: она — предприниматель. У неё — активы. Два актива, каждый по два медных, итого капитал — четыре медных монеты в виде живого поголовья.

Стартап, — подумала она. — Я запустила стартап. Ирина и Ольга — мой первый раунд инвестиций. Мой единственный сотрудник — я. Мой единственный клиент — я. Мой бизнес-план — существует только в моей голове и опирается на смутное воспоминание из детской книжки про то, как в деревне варят сыр.

Всё пойдёт прекрасно.

Ольга-коза посмотрела на неё с презрением и попыталась

ущипнуть за юбку.

Первую катастрофу козы устроили на второй день.

Кира привязала их вечером во дворе, на длинных верёвках. Верёвки были крепкие. Колышки — глубоко в земле. Всё казалось надёжным.

Утром она вышла — и обомлела.

Огорода не было.

То есть — огород был. Но там, где вчера ещё торчали остатки лука, полоски моркови, несобранные пока свёкла и репа, — теперь было аккуратно объедено. Не хаотично, как объедает потоптанное стадо. Аккуратно. Систематически. Так, как объедает голодная, но умная скотина, которая понимает, что если ей повезло, то надо использовать по максимуму.



# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.